



M  
+

МАТЕРИАЛ.  
ЖЕНСКАЯ  
ПАМЯТЬ  
О ГУЛАГЕ #

MATERIAL.  
WOMEN'S  
MEMORY  
OF THE GULAG #



Сборник статей  
и материалов к выставке ¶

Международный Мемориал #

Exhibition and publication  
organized by:

International Memorial #



НАД ИЗДАНИЕМ РАБОТАЛИ

СОСТАВИТЕЛИ

Алена Козлова, Ирина Островская ¶

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР

Ирина Щербакова ¶

КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТА

Анна Булгакова, Ирина Юрьева ¶

ПРОДЮСЕР ПРОЕКТА

Елена Жемкова ¶

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

ABCdesign

Екатерина Юмашева, Дмитрий Мордвинцев ¶

ЦВЕТКОРРЕКЦИЯ

Екатерина Юмашева ¶

ФОТОГРАФЫ

Юрий Пальмин, Дарья Кротова ¶

КОРРЕКТОРЫ

Николай Гладких, Оксана Михайлова ¶

ПЕРЕВОД НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Даниил Дынин ¶

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ

ЗА ПОМОЩЬ В ПРОЕКТЕ

Борису Беленкину, Сергею Бондаренко,  
Марине Брагиной, Ирине Галковой,  
Любови Гришиной, Александру Даниэлю,  
Галине Ирданской, Никите Ломакину,  
Алексею Макарову, Наталье Петровой,  
Светлане Фадеевой, Михаилу Шейнкеру #

ВЫСТАВКА

«МАТЕРИАЛ. ЖЕНСКАЯ ПАМЯТЬ О ГУЛАГЕ»

КУРАТОРЫ

Ирина Щербакова, Ирина Островская,  
Алена Козлова ¶

АРХИТЕКТУРА ВЫСТАВКИ

Надя Корбут, Кирилл Асс, Катя Тинякова ¶

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Наталья Торопицына, Надя Корбут,  
Кирилл Асс ¶

РЕЖИССУРА АУДИОКОНТЕНТА

Анна Булгакова ¶

КООРДИНАЦИЯ

Анна Булгакова ¶

ПРОДЮСЕР

Елена Жемкова ¶

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ

Министерство иностранных дел Швейцарии ¶

Содействие выставочному проекту оказала  
семья Бунтман ¶

Выставка «Материал. Женская память о ГУЛАГе»  
экспонировалась в помещении Международного  
Мемориала (Москва, ул. Каретный Ряд, 5/10)  
с 5 октября 2021 года по 28 января 2022 года ¶

EXHIBITION AND PUBLICATION  
ORGANIZED BY:

International Memorial #

Embassy of Switzerland in Russia

**ABCDESIGN**



PUBLICATION PARTICIPANTS

CONTRIBUTING AUTHORS

Alena Kozlova, Irina Ostrovskaya ¶

RESEARCH EDITOR

Irina Shcherbakova ¶

PROJECT COORDINATORS

Anna Bulgakova, Irina Yurieva ¶

PROJECT PRODUCER

Elena Zhemkova ¶

GRAPHIC DESIGN

ABCdesign

Ekaterina Yumasheva, Dmitry Mordvintsev ¶

COLOUR CORRECTION

Ekaterina Yumasheva ¶

PHOTOGRAPHY

Yuri Palmin, Darya Krotova ¶

PROOFREADERS

Nikolay Gladkikh, Oksana Mikhailova ¶

ENGLISH TRANSLATION

Daniil Dynin ¶

WE WOULD LIKE TO EXPRESS

OUR GRATITUDE TO THE FOLLOWING  
PERSONS FOR THEIR ASSISTANCE

Boris Belenkin, Sergey Bondarenko,  
Marina Bragina, Alexander Daniel,  
Svetlana Fadeeva, Irina Galkova,  
Lyubov Grishina, Galina Jordanskaya,  
Nikita Lomakin, Alexey Makarov,  
Natalia Petrova, Mikhail Sheinker #

EXHIBITION

'MATERIAL. WOMEN'S MEMORY OF THE GULAG'

CURATORS

Irina Shcherbakova, Irina Ostrovskaya,  
Alena Kozlova ¶

EXHIBITION ARCHITECTS

Nadya Korbut, Kirill Asse, Katya Tinyakova ¶

GRAPHIC DESIGNERS

Natalia Toropitsyna, Nadya Korbut,  
Kirill Asse ¶

AUDIO CONTENT

Anna Bulgakova ¶

COORDINATION

Anna Bulgakova ¶

PRODUCER

Elena Zhemkova ¶

EXHIBITION GENERAL PARTNER

Swiss Federal Department of Foreign Affairs ¶

Support for the exhibition was provided by:  
The Buntman family ¶

The exhibition «Material. Women's Memory  
of the Gulag» was held at the International  
Memorial building, at Karetny Ryad 5/10,  
Moscow, from 5 October 2021 to 28 January  
2022 ¶

© NIPC «Memorial», 2024 #

# СОДЕРЖАНИЕ 6

# CONTENTS

О ВЫСТАВКЕ «МАТЕРИАЛ. ЖЕНСКАЯ ПАМЯТЬ О ГУЛАГЕ» THE EXHIBITION 'MATERIAL: WOMEN'S MEMORY OF THE GULAG'	8 15
ЖЕНСКИЕ СУДЬБЫ В ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ «МЕМОРИАЛА» Ирина Островская, Алена Козлова	24
КЛЮЧИ К ЖЕНСКОЙ ПАМЯТИ В МУЗЕЕ «МЕМОРИАЛА» Ирина Галкова	37
МАТЕРИАЛ MATERIAL	54
«МАТЕРИАЛ» — ВЕЩЕСТВЕННАЯ ПАМЯТЬ О ГУЛАГЕ Ирина Щербакова THE EXHIBITION 'MATERIAL' IS DEVOTED TO THE PHYSICAL MEMORY OF THE GULAG Irina Shcherbakova	56
I ОТРЕЗ CUT	58
II УЗЕЛ KNOT	78
III ИЗНАНКА UNDERSIDE	100
1. ВЕТОШЬ RAGS	102
2. ВЕРЕТЕНО SPINDLE	130
3. СТЕЖОК STITCH	166
4. НИТИ THREADS	192
5. ПЕТЛЯ LOOP	254
6. ПЕРЕЛИЦОВКА RETAILORING	264
IV ШОВ SEAM	286

СТАТЬИ TEXTS	302
АЛЖИР. МЕХАНИЗМ РЕПРЕССИВНОЙ ПОЛИТИКИ Арсений Рогинский, Александр Даниэль	304
В КРУЖЕВНОЙ ТЕНИ ГУЛАГА: ЖЕНСКИЙ ОПЫТ В МАТЕРИАЛЬНОСТИ И МОЛЧАНИИ ВЕЩЕЙ Ирина Сандомирская	315
РОДИТЕЛЬСТВО И ТРАНСЛЯЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА В ОБРАЗОВАННЫХ СЕМЬЯХ, ЗАТРОНУТЫХ РЕПРЕССИЯМИ Софья Чуйкина	323
НЕМЕЦКИЕ ЖЕНЩИНЫ В ГУЛАГЕ Майнхард Штарк	332
ДУША — ЖЕНЩИНА. АРХЕОЛОГИЯ ГУЛАГА Люба Юргенсон	340
ЕСТЬ ЛИ «ЖЕНЩИНЫ» В СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛАХ? Сергей Бондаренко	345
ХОЖДЕНИЕ ПО НАРРАТИВНОМУ ЛЕЗВИЮ: «КРУТОЙ МАРШРУТ» ЕВГЕНИИ ГИНЗБУРГ Франциска Тун-Хоэнштайн	356
ПУБЛИКАЦИИ PUBLICATIONS	366
ПИСЬМА С КОЛЫМЫ. Подборка писем Евгении Гинзбург. 1940–1945	368
ИСТОЧНИКИ	395
КРАТКИЕ СПРАВКИ ОБ АВТОРАХ SHORT INFORMATION ABOUT THE AUTHOR	396

Идея выставки, посвященной женской памяти о ГУЛАГе, возникла в «Мемориале» много лет назад. Прежде всего потому, что женщины стали хранительницами той памяти о ГУЛАГе, вербальной и материальной, которая и досталась нам в наследство.¶

Женщин в ГУЛАГе было в процентном отношении существенно меньше, чем мужчин (тем более женщин, осужденных по политическим обвинениям), но оказалось больше среди выживших и доживших. Мужчины, которым удалось пережить лагерь, нередко уходили из жизни уже через несколько лет после освобождения. Об этом говорит в своих воспоминаниях Евгения Гинзбург, приводя цитату из стихотворения Бориса Слуцкого: *Старух было много, стариков было мало: то, что гнуло старух, стариков ломало.*¶

Архив и музейная коллекция «Мемориала» были созданы в большой мере благодаря тому, что сохранили женщины. И в мемуарном фонде преобладают авторы-женщины. Тем не менее сделать на основании собранных за тридцать лет документов, предметов и артефактов выставку, посвященную женщинам, оказалось трудной задачей.¶

Охватить такую огромную тему, как женщины в ГУЛАГе, было вне наших скромных возможностей. Но помимо ограниченности небольшим пространством выставочного помещения, существуют историографические проблемы, связанные с ее изучением. Прежде всего потому, что из огромного массива документов, хранящихся в государственных архивах, трудно вычленишь те, что касаются именно женщин. В этой государственной «памяти», состоящей из приказов, директив, регламентов, отчетов, справок, следственных дел — из огромного бумагооборота, связанного с ГУЛАГом, — есть большие лакуны. Женщин репрессировали по тем же обвинениям, что и мужчин, они попадали в те же категории — за исключением особой ситуации Большого террора, когда для них возникла специальная — ЧСИР — члены семей изменников родины<sup>1</sup>. При этом женщин, как правило, не выделяли из общей массы заключенных, когда речь шла о трудоиспользовании, санитарных нормах, нормах питания и т. д. Документы, которые касаются именно женщин, главным образом связаны с беременностью, рождением детей в лагере. Вообще архивные документы ГУЛАГа мало говорят о судьбе отдельного человека, они словно пытаются завершить то, что не удалось сделать репрессивной машине — уничтожить реального человека, оставив лишь безымянного заключенного — без пола и без лица.¶

Какой образ женщины в ГУЛАГе сложился в другой памяти — памяти культурной? Главным источником ее, несомненно, служит текст. Мемуары долгие годы являлись единственным

<sup>1</sup> В каталоге этой категории посвящена отдельная статья, написанная Арсением Рогинским и Александром Даниэлем.



# ХОЖДЕНИЕ ПО НАРРАТИВНОМУ ЛЕЗВИЮ: «КРУТОЙ МАРШРУТ» ЕВГЕНИИ ГИНЗБУРГ<sup>1</sup>

Франциска Тун-Хоэнштайн

Книга Евгении Гинзбург «Крутой маршрут. Хроника времен культа личности», охватывающая 18 лет, проведенных автором в тюрьме, лагере и ссылке, принадлежит к числу первых опубликованных воспоминаний об опыте выживания в ГУЛАГе. Впервые вышедшая в самиздате, она широко ходила по рукам и была в буквальном смысле зачитана до дыр. Культурная значимость этого текста не подлежит сомнению, однако выраженная в нем авторская позиция вызывает разноречивые суждения. Е. Гинзбург подчеркивает, что даже в тяжелейших условиях сталинских репрессий ее идеологические и моральные убеждения оставались неизменными. Ее автобиографическое «я» подается как частица сообщества, каковой она себя ощущает, но при этом хотела бы от этого сообщества отделиться. Большое концептуальное влияние на самоопределение Е. Гинзбург и всю ее картину мира оказала социокультурная ситуация, сложившаяся в сталинском, затем сталинистском Советском Союзе. Нарратив тем самым превращается в своего рода «хождение по лезвию» между различными концептуальными полями: коммунистической идеологией, гуманистически-интеллигентской традицией и христианской религией. Подобное причудливое своеобразие — признак того, что марксистская убежденность, которая морально укрепляла Е. Гинзбург в первый период ее арестантской жизни, в последующие годы, вследствие пережитого, в известной мере ослабла.

<sup>1</sup> Авторская сокращенная версия главы из монографии: *Thun-Hohenstein F. „Gebrochene Linien“. Autobiographisches Schreiben und Lagerzivilisation / F. Thun-Hohenstein. Berlin, 2007.*

## ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ РУКОПИСИ

Записывать свои воспоминания Е. Гинзбург начала летом 1959 года. Окончательная редакция текста разделена на три части, по числу мест заключения. Это тюрьма (с момента ареста в феврале 1937 года до начала лета 1939 года), колымские лагеря (1939–1947), ссылка в Магадане (с 1947 года вплоть до реабилитации в 1955-м). Вступление и эпилог образуют своего рода рамку, которая объясняет замысел текста, причины его возникновения, а также свидетельствует о влиянии эпохи «оттепели» на процесс письма. Сама парадигма лагерной прозы предполагает, что в процессе самопредставления автор сосредотачивает внимание на переломах, случившихся с ним на жизненном пути. Запись пережитого становится средством самоутверждения, терапевтический эффект которого объясняется чувством словно бы нового рождения, произошедшего благодаря письменной реконструкции собственного «я». В ситуации немоты, навязанной государственной властью, у Е. Гинзбург оставалась лишь возможность письменного общения с самой собой как способа осмысления пережитого.

Авторское «я» эпилога отстоит уже на определенную дистанцию от процесса написания основного текста. К 1962 году рукопись выросла почти до 400 страниц, это эмоциональный текст, чуждый какой бы то ни было внутренней цензуры: «Этот первый вариант, написанный в том состоянии просветленной горечи, которое возникает после утраты близких, был полон самого сокровенного, доверяемого только бумаге»<sup>2</sup>. Это состояние «просветленной горечи», вызванное смертью мужа Антона Вальтера, становится у нее отражением эмоциональной напряженности и искренности.

<sup>2</sup> *Гинзбург Е. Крутой маршрут. Хроника времен культа личности / Е. Гинзбург. М.: Книга, 1991. С. 687.*

Появление внутреннего цензора сама Е. Гинзбург связывает с надеждой (охватившей и многих других авторов) на публикацию, появившейся после напечатания повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (1962). Однако при повторном чтении у нее сложилось мнение, что текст для обнародования еще не пригоден. Пришлось «подтягивать» его с учетом требований цензуры. По своей редакторской должности она имела доступ к пишущей машинке, за которой регулярно проводила теперь по несколько часов после работы. Из соображений безопасности, она уничтожала первоначальный вариант текста после его обработки. Если карандаш и школьная тетрадка обеспечивали столь ценную аутентичность, то пишущая машинка была инструментом самоцензуры, в основном диктуемой извне культурно-политической ситуацией. Пишущая машинка играла важную роль и в другом отношении. Подготовив свой текст к публикации — речь идет о первой части плюс первых девяти главах второй части, — Е. Гинзбург передала машинописную рукопись в редакции журналов «Новый мир» и «Юность». Надежда на публикацию не оправдалась, зато возникла целая волна перепечаток. Следы чтения этого текста мы находим у А. Солженицына, О. Волкова, В. Шаламова и некоторых других авторов.

Через самиздат экземпляр «Крутого маршрута» попадает на Запад, и в январе 1967 года книга выходит в миланском издательстве Арнольдо Мондадори. Для самой Е. Гинзбург контраст между предполагаемым ею доверительным общением автора с современником и анонимностью незнакомого ей западного читателя оказался чрезвычайно резким: «Точно твоего погибавшего ребенка спасли какие-то чужестранцы, но при этом его полностью оторвали от тебя»<sup>3</sup>. Писательнице

оставалось только удивляться необычному способу распространения ее рукописи. Бесчисленные отклики побудили ее закончить работу над новой версией.

### «Я» РАССКАЗЧИЦЫ: НАБРОСОК ОБРАЗА «РЯДОВОЙ КОММУНИСТКИ»

Сам факт публикации требовал как-то легитимировать позицию рассказчика. Е. Гинзбург заключает с читателем свой собственный «автобиографический пакт»<sup>4</sup>, выходящий за жанровые рамки традиционного автобиографического критерия, включающего идентичность авторского имени, персонажа и «я» рассказчика. Во вступлении она прямо называет адресата, которому она может доверить свое свидетельство и который поймет ее так, как она сама бы хотела:

«Я старалась все запомнить, в надежде рассказать об этом тем хорошим людям, тем настоящим коммунистам, которые будут же, обязательно будут когда-нибудь меня слушать.

Я писала эти записки как письмо к внуку. Мне казалось, что только примерно к восьмидесятому году, когда моему внуку будет примерно двадцать лет, все это станет настолько старым, чтобы дойти до людей»<sup>5</sup>.

Ориентация на частное письмо к внуку свидетельствует о желаемом интимном характере коммуникации и позволяет Е. Гинзбург нащупать стиль повествования. Временная дистанция, разделяющая автора и получателя эпистолярного сообщения, здесь привязана к внуку: только когда он вырастет — таков предварительный расчет, — описанные события

<sup>4</sup> *Lejeune Ph.* „Der autobiographische Pakt“, in: Günter Niggel (Hg.): „Die Autobiographie. Zu Form und Geschichte einer literarischen Gattung“. Darmstadt, 1989. S. 214–257.

<sup>5</sup> Гинзбург Е. Указ. соч. С. 7.

<sup>3</sup> Гинзбург Е. Указ. соч. С. 691.

отодвинутся так далеко в прошлое, что текст станет доступен всем людям (в Советском Союзе). Первое из процитированных предложений, однако, пронизано сомнением в том, дойдет ли ее рассказ о пережитом до «настоящих коммунистов», сомнением, которое она пытается скрыть с помощью эмфатического повтора. И уже в последних предложениях вступления вновь звучит вера в перемены в типичных формулах «оттепельной» риторики:

«Как хорошо, что я ошиблась! В нашей партии, в нашей стране снова царит великая ленинская правда. Уже сегодня можно рассказать людям о том, что было, чего больше никогда не будет.

И вот они — воспоминания рядовой коммунистки. Хроника времен «культы личности»<sup>6</sup>.

Гинзбург выстраивает образ рассказчицы, передающей свой личный опыт, свои чувства и сомнения и в то же время являющейся образцом «рядовой коммунистки». Рассказчица дистанцируется от своих собственных прежних представлений о происходивших событиях, представлений «наивной коммунистической идеалистки»<sup>7</sup> и тем самым подчеркивает разницу между повествующим «я» — и «я» как объектом повествования. Но причины своей, ею же самой диагностированной наивности она не анализирует.

Евгения Гинзбург родилась в 1904 году в еврейской семье. Ее отец Соломон Гинзбург был фармацевтом. В 1909 году семья переехала в Казань. Евгения начала учебу в частной женской гимназии, но окончила школу после революции, когда уже создавалась советская образовательная система. Окончив институт по специальности «история» (1920–1924), преподавала на рабфаке,

начала публиковать статьи в газетах, с 1930 года — преподаватель истории ВКП(б) в техническом училище, с 1933-го — в Казанском университете. В 1934 году назначена доцентом кафедры истории Коммунистической партии и ленинизма. В это же время она возглавляла отдел культуры газеты «Красная Татария». К моменту ареста в феврале 1937 года она была замужем за партийным функционером Павлом Аксеновым, председателем городского совета Казани, и имела двух сыновей, Алексея, 12 лет, от первого брака, и четырехлетнего Василия. За восемь дней до ареста она была исключена из Коммунистической партии, в которой состояла с 1932 года. Е. Гинзбург обвиняли в том, что она была членом троцкистской организации и вместе с другими планировала террористические акты. Приговор гласил: 10 лет одиночного тюремного заключения со строгой изоляцией и поражением в правах на 5 лет с конфискацией всего личного имущества. Два года спустя приговор был изменен: вместо одиночного заключения — исправительно-трудовой лагерь. Гинзбург была этапирована на Колыму.

В колымском лагере она знакомится со своим будущим третьим мужем — врачом Антоном Вальтером, по происхождению крымским немцем, католиком. После освобождения в 1947 году Вальтер был переведен на вечное поселение в Магадан. Это позволило ей оставаться рядом с ним. Гинзбург находит работу воспитательницы в детском саду, берет себе девочку-сироту, которую позднее удочеряет. Ее старший сын умер в Ленинграде во время блокады. В 1948 году младший сын, Василий Аксенов, получает возможность посетить мать. В октябре 1949 года происходит повторный арест, который, однако, продлился всего месяц. В 1955-м ей разрешают покинуть Колыму. Антон Вальтер умер в 1959 году из-за подорванного в лагерях здоровья.

<sup>6</sup> Гинзбург Е. Указ. соч.

<sup>7</sup> Там же. С. 692.

Биографические сведения о своем детстве и юности Гинзбург сообщала неохотно. В «Крутом маршруте» никак не отражено, какую роль играла в их семье еврейская традиция и как повлияли на повседневную жизнь потрясения 1917 года. В то время тринадцатилетняя девочка, она была воодушевлена революцией, однако отец, скорее всего, не разделял ее энтузиазма. Нарисованный ею сильно романтизированный образ «революционного детства»<sup>8</sup> стал для нее важнейшим источником душевных сил, к которому она нередко прибегает: «Как все хорошо начиналось! Что же, что же это такое случилось?»<sup>9</sup> Рассказ о своем детстве и подростковом возрасте она переводит в общественный план. Есть только одно эмоционально значимое место, где рассказчица касается своих отношений с родителями, главным образом с отцом. Эти ее слова включены в рассказ о пребывании в тюремном карцере, куда ее отправили сразу после получения письма от матери, в котором та пишет о смерти отца. «Я думаю об отце, и по стенам застенка начинают плыть нежные картины детства»<sup>10</sup>. До восьмилетнего возраста отец оставался самым близким для нее человеком. В следующей фразе, где звучит горечь от потери, заметен лишь намек на идеологический конфликт между ними, сквозит осознание того, что ей уже не суждено попросить у отца прощения. Что касается собственно жизнеописания Е. Гинзбург, то отсутствие в нем упоминаний о раннем детстве свидетельствует о ее внутреннем (идейном) отстранении от устаревшей, «отсталой» среды ее родительского дома. Помимо этого, замысел рассказчицы заключался не в создании автобиографического повествования,

а в том, чтобы описать фрагмент русской истории XX века, увиденный глазами женщины, «рядовой коммунистки», «не только жертвы, но и наблюдателя».

## ВЫНУЖДЕННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Е. Гинзбург трансформировала свою позицию «вынужденного свидетеля»<sup>11</sup>, от которой она не могла отказаться ни в тюрьме, ни в лагере, ни в ссылке, в миссию добровольно принятого на себя обязательства — свидетельствовать.

Мысль о том, что воля к выживанию в лагерных условиях укрепляется осознанием своей миссии как свидетеля, принадлежит к числу мотивов, характерных как для воспоминаний людей, выживших в немецких лагерях уничтожения и концлагерях, так и выживших в ГУЛАГе. Такая позиция помогла авторскому «я» «Крутого маршрута» отстраниться от своих повседневных переживаний. Со своей стороны, ужасающая действительность, которая абсолютно расходилась с представлением рассказчицы о Советском Союзе как воплощенной в жизнь утопии лучшего мира, внушала ей глубокую неуверенность в себе. Рассказывая с большим пафосом о своем окрашенном революцией детстве, она запоздало, но все яснее понимает, что ее личное «я» сформировано тем сообществом, которое допустило, более того, само построило ту систему насилия, жертвой которого она теперь оказалась вместе со многими другими. Ее «я» как действующее лицо «Крутого маршрута» пытается по мере возможности преодолеть — как интеллектуально, так и эмоционально — разрыв между прежней идеализированной картиной мира и ужасающей действительностью.

8 Гинзбург Е. Указ. соч. С. 175.

9 Там же. С. 171.

10 Там же. С. 186.

11 Там же. С. 323.

Для Е. Гинзбург «правдивость» состоит не в голой фактографии, а в точной передаче того, как рассказчица субъективно воспринимает описываемую действительность. «Правда», «правдивость», «искренность» соседствуют по смыслу с такими понятиями, как хроника и свидетельство, и тем самым подтверждают диагностическую верность рассказа. Литературный модус подачи материала дает автору несколько преимуществ: обеспечивает защиту от сомнения в достоверности описанных событий, легитимирует субъективную позицию рассказчицы и посредством определенных эстетических приемов глубже вовлекает читателя в драматическую ситуацию внутреннего «хождения по лезвию». Используя для своего рассказа классическую форму романа воспитания, Е. Гинзбург хочет продемонстрировать читателю метаморфозу своего миропонимания.

Поставленную перед собой задачу она формулирует в эпилоге: «Главным образом не для того, чтобы изложить фактическую историю дальнейших лет в лагере и ссылке, а для того, чтобы читателю раскрылась внутренняя душевная эволюция героини, путь превращения наивной коммунистической идеалистки в человека, основательно вкусившего от древа познания добра и зла, человека, к которому через все новые утраты и мучения приходили и новые озарения (пусть минутные!) в поисках правды. И этот внутренний „крутой маршрут“ мне важнее донести до читателя, чем простую летопись страданий»<sup>12</sup>.

Оба полюса ее эволюции — от «наивной коммунистической идеалистки» до «человека, основательно вкусившего от древа познания добра и зла» — свидетельствуют, насколько характерным для Е. Гинзбург было тесное слияние

политического и личного начал. Восприятие ею времени хорошо выражается в смене эпиграфов: выдержки из поэмы А. Блока «Возмездие» (1911): «Двадцатый век... Еще бездомней, / Еще страшнее жизни мгла / (Еще чернее и огромней / Тень Люциферова крыла)»<sup>13</sup> на цитату из стихотворения Евгения Евтушенко «Наследники Сталина» (опубликованного в газете «Правда» 21 октября 1962 года): «И я обращаюсь / к правительству нашему с просьбою: / удвоить, утроить у этой плиты караул, / чтоб Сталин не встал / и со Сталиным — прошлое»<sup>14</sup>. Замена эпиграфа перемещает акцент с общей историко-философской плоскости на конкретное отмежевание от сталинской эпохи. «Тень Люциферова крыла» превращается в тень Сталина, все более угрожающую. Размышления рассказчицы о своей эпохе концентрируются на личности Сталина как зачинщика насилия, с которым ей пришлось столкнуться<sup>15</sup>. Персонализация исторического процесса в рамках концепции «культы личности» лежит в том же русле, что и старания Хрущева представить сталинизм как преодоленную (а значит, преодолимую) фазу на пути к коммунизму. Рассказчица следует этой формуле, дистанцируясь от практики террора и насилия, но не подвергая сомнению революционные идеалы своей юности и тем более веру в саму коммунистическую идею.

Самоограничение, которому подвергает себя Е. Гинзбург в разговоре о некоторых аспектах своего опыта, — это не только следствие перенесенной травмы или чувства стыда, но и действие «автобиографического пакта», заключенного

13 Возмездие / А. Блок // Собрание сочинений в восьми томах. Т. 3. М.: 1960. С. 305.

14 Цит. по: «Оттепель». 1960–1962. Страницы русской литературы. М.: 1990. С. 434.

15 По некоторым свидетельствам, она никогда не думала о том, чтобы покинуть Колыму, потому что была убеждена, что Сталин никогда не простит тех, кому причинил столько зла (Гинзбург Е. Указ. соч. С. 455).

ею с неким предполагаемым адресатом. Это становится очевидно, к примеру, в главе «Ветерок в кустах шиповника», где рассказчица рассуждает о лагерной любви и сексуальности:

«Любовь в колымских лагерях — это торопливые опаснейшие встречи в каких-нибудь закутках на „производстве“, в тайге, за грязной занавеской в каком-нибудь „вольном“ бараке. <...>

Многие наши товарищи решили этот вопрос не только для себя, но и, принципиально, для всех, с беспощадной логикой настоящих потомков Рахметова. На Колыме, говорили они, не может быть любви, потому что она проявляется здесь в формах, оскорбительных для человеческого достоинства. На Колыме не должно быть никаких личных связей, поскольку так легко здесь соскользнуть в прямую проституцию. Принципиально возразить тут вроде бы и нечего. Наоборот, можно только проиллюстрировать эту мысль бытовыми колымскими сценами купли-продажи живого товара»<sup>16</sup>.

Перед упоминанием подобных эпизодов автор ставит скобки: «Оговариваюсь: я веду речь только об интеллигентных женщинах, сидящих по политическим обвинениям. Уголовные — за пределами человеческого. Их оргии не хочу я живописать, хоть и пришлось немало вынести, становясь их вынужденным свидетелем»<sup>17</sup>. Автор выступает здесь от лица заключенных женщин из интеллигентской прослойки, осужденных за мнимые преступления. Рассказчица говорит о том, что в сексуальных (это слово не употребляется) «оргиях» участвуют только уголовники, и по этой причине отказывается их описывать. Это относится и к таким чрезвычайным случаям, как групповые изнасилования, жертвами которых

в большинстве случаев становились как раз женщины из интеллигенции.

Приведенные цитаты свидетельствуют о стремлении рассказчицы защитить свое достоинство даже в бесчеловечных лагерных условиях. Она дает понять, насколько глубоко ее личность укоренена в ментальной традиции революционной русской интеллигенции. Ее отношение к тем «нашим товарищам», которые отрицали всякую возможность любви в лагерных условиях, видимым образом противоречиво. Едва ли она могла отрицать тот факт, что в лагерной повседневности сексуальные отношения часто принимали вид принуждения или проституции. Однако именно в лагере она познакомилась со своим будущим мужем Антоном Вальтером. Процитированный отрывок наглядно показывает разницу между действующим «я» Е. Гинзбург как «невольной свидетельницы» ужасов, которые ей пришлось пережить, и ею же как рассказчицей, вымарывающей эти сцены из своих мемуаров. Таким образом в повествование включается принципиальная возможность как-то преодолеть пережитое. Прием, которым достигается эта цель, состоит в апостериорном растворении «я»-голоса рассказчика в добровольно собравшемся сообществе людей, говорящих на общем языке и потому сознающих, о чем можно говорить, а о чем лучше умолчать.

## ЛИТЕРАТУРА КАК КОММУНИКАТИВНЫЙ КОД

Одним из эстетических приемов Е. Гинзбург, позволяющих либо дистанцироваться от собеседников, либо дать понять, что достигнута близость, достаточная для взаимного понимания, является использование литературных образцов. Для нее литература была не просто составной частью ее образования, выделявшего ее как представительницу привилегированного

<sup>16</sup> Гинзбург Е. Указ. соч. С. 323.

<sup>17</sup> Там же.

(в определенном смысле) слоя интеллигенции. Она служила ей постоянным жизненным ориентиром: «Мы приходили к коммунизму „не низом шахт, серпов и вил“. Нет, мы „с небес поэзии бросались в коммунизм“. По сути мы были идеалистами чистой воды при всей нашей юношеской приверженности к холодным конструкциям диамата»<sup>18</sup>.

Глубокое знание поэтических текстов и привычка постоянно к ним обращаться оказались полезными для преодоления чувства униженности и подневольности в экстремальном тюремно-лагерном существовании. Литературные ассоциации и цитаты функционируют в тексте как коммуникативные коды на разных его уровнях: в плане повествования они служат рассказчице ключом для понимания самой себя и взаимопонимания с другими заключенными, а для «я»-личности самой рассказчицы работают как зримая точка отсчета для ее саморепрезентации и как ориентир для читателя. Если во времена заключения обращение к поэзии помогало отстраниться от переживаемой реальности, то цитирование стихов в тексте дает возможность рассказчице более дифференцированно, по прошествии времени, описать свое тогдашнее эмоциональное состояние. Так, когда рассказчица получает приговор военного трибунала, автор вкладывает в ее уста стихи из поэмы Бориса Пастернака «Лейтенант Шмидт» с описанием традиционной сибирской ссылки: «Каторга! Какая благодать!»<sup>19</sup>

Представление о том, каким образом Е. Гинзбург воссоздает функцию литературы как кодовую систему взаимопонимания в среде заключенных, лучше всего дает сцена в этапном вагоне. В красный вагон для скота с надписью «спецоборудование» были втиснуты 76 женщин, где

они находились в чрезвычайной тесноте, на крайне скудном питании и в ужасающих санитарных условиях. Из уст в уста передавалось слово «Колыма», многодневное путешествие должно было закончиться во Владивостоке. Разговаривать заключенным разрешалось только во время движения эшелона. На стоянках всякий разговор был запрещен, даже шепот карался карцером. Рассказчица нарушила запрет, решив уступить просьбам товарищей почитать что-нибудь вслух. Например, Пушкина. Раздается одобрительный голос: «Правильно. Давайте классиков. Очень успокаивает»<sup>20</sup>. В качестве платы за эту «общественную работу» ей дают хлебнуть из кружки глоток воды. Помимо других произведений, она декламирует поэму Николая Некрасова «Русские женщины». Заключенные седьмого вагона ощутили огромную эмоциональную близость с женами декабристов, как с подругами по несчастью, разделяющими с ними вагонные нары на пути в неизвестность, в Сибирь. Увлечшись, рассказчица не заметила, что поезд давно остановился. Ее чтение услышали охранники и потребовали отдать им книгу. Чтобы убедить их в том, что никакой книги в вагоне нет, чтнице пришлось еще раз продемонстрировать им свою феноменальную память: «Нет, „Русских женщин“ я им читать, конечно, не буду. Что-нибудь нейтральное: „Евгений Онегин“. Роман в стихах. Сочинение Александра Сергеевича Пушкина»<sup>21</sup>. Пример «Русских женщин» показывает, что Е. Гинзбург выстраивает свою стратегию сопротивления власти в символическом поле, используя как средство борьбы литературные образцы, самой этой властью канонизированные. Таким образом, даже Колымский край, который из-за весьма суровых климатических условий

18 Гинзбург Е. Указ. соч. С. 400.

19 Там же. С. 133.

20 Там же. С. 220.

21 Там же. С. 222.

не использовался как место ссылки в царской России, оказывается включенным в этот «сибирский миф», созданный революционной интеллигенцией.

По прибытии корабля в бухту Нагаево из всех чувств у заключенных остается только лишь ужас. Е. Гинзбург, превратившаяся в *доходягу*, кладут возле реки на голую землю. Лысые лиловатые сопки, подобно тюремным стенам, заслоняют от нее линию горизонта. Интеллигентский сибирский миф и реальность «лагерной цивилизации» непримиримо разошлись.

## МЕЖДУ ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ И ОТРЕШЕНИЕМ

Понять и быть понятым — это одна из главных тем, красной нитью проходящая через весь «Крутой маршрут». Автобиографическое «я» Е. Гинзбург колеблется между идентификацией с советской системой и дистанцированием от нее, причем как согласие, так и отрешение проецируются на собственное прошлое рассказчицы. Различия между повествующим «я» рассказчицы и ее действующим «я» отражаются в языке<sup>22</sup>.

Особый эмоциональный стиль вкупе с нежеланием лишать читателя надежды с первых же строк позволяют Е. Гинзбург выйти на языковой уровень, где нет места крайностям. Часто применяемый неожиданный переход от прошедшего времени

к настоящему показывает, что рассказчица в самом процессе письма как бы заново переживает описываемые события.

«Крутой маршрут» — это литературное свидетельство перелома в мышлении, что для автобиографического «я» сопряжено с поиском других ценностей. Таким образом рассказчица все дальше отходит от пустой фразеологии официального идеологического дискурса, под влиянием которого прежде находилась. По этой причине подобные выражения в тексте часто заключаются в кавычки: «проявили политическую близорукость», «потеряли бдительность», «пошли на примиренчество с сомнительными элементами», «проявили гнилой либерализм». Заключение в скобки как дистанцирующая операция применяется и в случае лагерного жаргона. Принять этот жаргон впрямую означало бы для рассказчицы порвать с этическими нормами русской интеллигенции, равно как и с христианскими ценностными представлениями, к которым она впервые приобщилась в лагере. Слова специфически лагерного вокабуляра, такие как «придурки», «кобла», часто также заключаются в кавычки. Правда, в этом отношении Е. Гинзбург действует непоследовательно: некоторые понятия, обозначающие специфические феномены лагерной жизни (как, например, *доходяга*), используются ею без кавычек.

То, как Е. Гинзбург использует литературные цитаты, свидетельствует о ее желании заменить разрушенную картину мира чем-то другим. Находясь в заключении, она превратилась в моралистку, и близость ее позиции к христианской этике нельзя не заметить. Однако за этим «встречным» мифом скрывается не только желание отпустить грехи партии, спасти революционную утопию и собственные юношеские идеалы. Литература, как бы интенсивно она ни способствовала переработке прошлого жизненного опыта,

22 Иоахим Кляйн отмечает прием иронического дистанцирования посредством саркастически-иронизирующей передачи «квазибожественного характера официальной фигуры Сталина» в карикатурном духе, с помощью начальных прописных букв. Ср.: Klein J. „Lagerprosa: Evgenija Ginzburgs, Gratwanderung..“ in: Zeitschrift für Slawistik, 37 (1992), Nr. 3, S. 378–389 (конкретно — с. 381). В одном месте Е. Гинзбург использует такую обобщенную характеристику Сталина: «Гений, Вождь, Отец, Творец, Вдохновитель, Организатор, Лучший друг, Корифей и прочая и прочая» (Гинзбург Е. Указ. соч. С. 632).



была не в состоянии компенсировать потерю веры в некий абсолюте, пусть даже такой квазисакральной веры, как вера в непогрешимость партии и Сталина. Возникающая отсюда неуверенность, а вместе с ней тоска по иерархичному и упорядоченному мировому абсолюту в тексте очевидны.

Под влиянием католика Антона Вальтера Е. Гинзбург обратилась к вере. Между тем «Крутой маршрут» читался, особенно в 60-е годы, как произведение убежденной коммунистки, безусловно преданной партии. Однако первоначально в самиздате курсировала лишь первая часть, поэтому критики, по-видимому, не имели возможности прочесть те главы второй и третьей частей, где христианская метафорика выступает отчетливей<sup>23</sup>. В последнее же время, напротив, подчеркиваются христианские аспекты мировоззрения автора.

К числу глав, в которых христианская метафорика доминирует и которые, насколько мне известно, не распространялись через самиздат в 60-е годы, принадлежит глава «Mea culpa». Эта формула покаяния в католицизме стала названием главы, в которой рассказчица вменяет себе в вину террор и насилие, развязанные системой, которую она сама поддерживала:

«Сейчас, на исходе отпущенных мне дней, я твердо знаю: Антон Вальтер был прав. „Mea culpa“ стучит в каждом сердце, и весь вопрос только в том, когда же сам человек услышит эти слова, звучащие глубоко внутри.

Их можно расслышать в бессонницу, когда, „с отвращением читая жизнь свою“,

трепещешь и проклинаешь. В бессонницу как-то не утешает сознание, что ты непосредственно не участвовал в убийствах и предательствах. Ведь убил не только тот, кто ударил, но и те, кто поддержал Злобу. Все равно чем. Бездумным повторением опасных теоретических формул. Безмолвным поднятием правой руки. Малодушным писанием полуправды. Mea culpa... И все чаще мне кажется, что даже восемнадцати лет земного ада недостаточно для искупления этой вины»<sup>24</sup>.

Даже свой собственный скорбный путь по дорогам ГУЛАГа рассказчица не хочет воспринимать как смягчающее обстоятельство.

Е. Гинзбург старается не впасть в навязанный извне тон покаяния, столь характерный для 30-х годов. И все же следы усвоенных фраз, бичующих ее самое или других людей, в «Крутом маршруте» различимы. В советском обществе, где, начиная с 20-х годов, постепенно набирал силу процесс ритуализации, люди испытывали все большее давление, вынуждающее каждого давать отчет о своей жизни и о своих мыслях. Соответствие слова предписанным нормам стало для каждого вопросом выживания, социального и физического. Императив сведения воедино — в идеологическом плане — собственного представления о себе и продиктованной извне нормы вошел в плоть и кровь первых поколений советской интеллигенции, к которой принадлежала и Е. Гинзбург.

От принятых в этой среде ритуализованных языковых шаблонов она отступает уже в одной из первых глав, заключая в кавычки некоторые устойчивые формулы и тем обозначая их квазирелигиозный характер (например, «кампании „расскажений“ и „признаний ошибок“»<sup>25</sup>). Другие

23 Относится ли это также к А. Твардовскому, еще предстоит выяснить. Е. Гинзбург в эпилоге упрекает его, что он отказался печатать ее воспоминания в «Новом мире», даже не обратив внимание на название главы «Mea Culpa» (Гинзбург Е. Указ. соч. С. 690).

24 Гинзбург Е. Указ. соч. С. 448.

25 Там же. С. 13.

формулы, с помощью которых она сближает политически инсценированные кампании по раскаянию и признанию собственных ошибок с католическим исповедальным ритуалом, оставлены без кавычек.

Религиозная лексика встречается главным образом в тех местах, где подчеркивается уход рассказчицы от прежнего «я». Там, где она делает упор на том, что ее мировосприятие изменилось, прежний свойственный ей язык дает сбой и она переходит на религиозную понятийную систему. То, что Е. Гинзбург помещает свой литературный автопортрет в эту раму, объясняется несомненно ее встречей в колымском лагере с Антоном Вальтером. Но и в рассказе о тех испытаниях, которые ей пришлось пережить в тюрьмах, лагерях и ссылке, она также использует христианскую образность, когда описывает времена еще до своего знакомства с будущим мужем.

Такова, например, сцена переправки заключенных кораблем из Владивостока на Колыму. Во время пути она пришла в состояние, близкое к смерти, и боялась, что ее тело просто выбросят за борт: «Я уже почти ничего не вижу. Но ведь здесь умирать никак нельзя. Среди моря. Бросят за борт, акулам. Даже без мешка. Господи, ну подожди до Магадана! Пожалуйста, Господи, молю тебя... Я хочу лежать в земле, а не в воде. Я человек. А ты ведь сам сказал: „Из земли взят и в землю...“»<sup>26</sup> Показательно, что в этой ситуации в уста человека, охваченного желанием выжить, вложено молитвенное обращение к Богу. Чередование языков знаменует собой грань, на которой балансирует рассказчица. (Изначально-)свое — коммунистическая идеология — превращается в чужое. (Изначально-) чужое — христианское

мировосприятие — становится своим. И лишь на этом языке Евгения Гинзбург может сформулировать свое представление о месте человека в мире.

26 Гинзбург Е. Указ. соч. С. 270.

# ПУБЛИКАЦИИ <sup>366</sup> PUBLICATIONS





СТЕЖОК



# ПИСЬМА С КОЛЫМЫ. ПОДБОРКА ПИСЕМ ЕВГЕНИИ ГИНЗБУРГ. 1940—1945

368

*«Нечего и говорить тебе о том душевном смятении, какое охватывает меня всегда, когда я получаю твои письма...»*

Публикуемые ниже 15 писем Евгении Гинзбург были посланы с Колымы ее мужу Павлу Аксенову, находившемуся в лагерях Архангельской области и Республики Коми, и охватывают период с июля 1940 по декабрь 1945 года.

Эти письма являются важным дополнением к ее автобиографическому роману «Крутой маршрут», который стал одной из первых и до сих пор самых известных мемуарных книг, посвященных судьбе женщины, прошедшей через тяжелейшие испытания в сталинских тюрьмах и лагерях. Готовя выставку «Материал. Женская память о ГУЛАГе», мы во многом опирались на опыт Евгении Гинзбург, и эти письма и звучащий в них голос делают его еще более живым и непосредственным.

Евгения Гинзбург родилась в 1904 году в Москве в семье фармацевта Соломона Натановича Гинзбурга (1876—1938) и Ревекки Марковны Гинзбург (1881—1949).

Евгения окончила историко-филологический факультет Казанского Восточного педагогического института, защитила диссертацию. Вступила в ВКП(б), преподавала в университете историю партии, работала в областной газете «Красная Татария», была корреспондентом «Литературной газеты».

В первом браке была замужем за доктором Дмитрием Николаевичем Федоровым, преподавателем Первого Ленинградского мединститута. В 1925 году родился сын Алексей.

Второй раз вышла замуж за Павла Васильевича Аксенова (1899—1991), выходца из рабочей среды, партийного деятеля, председателя Казанского городского

совета, члена бюро Татарского обкома партии. В 1932 году у них родился сын Василий, и в семье стало трое детей, так как у Павла Аксенова от первого брака была дочь Майя (1925—2010).

Евгения Гинзбург была обвинена в троцкистской деятельности, исключена из партии и 16 февраля 1937 года арестована. Следствие проходило в Казани. Военная коллегия Верховного Суда СССР в Москве вынесла приговор — 10 лет тюремного заключения за контрреволюционную троцкистскую деятельность (ст. 58-8, 58-11) со строгой изоляцией и поражением в правах на 5 лет. Срок Евгения Гинзбург начала отбывать в Ярославской тюрьме НКВД. 25 октября 1939 года приговор был изменен на 10 лет ИТЛ. Евгению Гинзбург вместе с другими женщинами-заключенными этапировали из тюрьмы в лагерь Колымы.

Ее муж Павел Аксенов был арестован 7 июля 1937 года и больше двух лет провёл под следствием. 28 октября 1939 года Судебная коллегия по уголовным делам приговорила его к высшей мере наказания, но приговор был заменен на 15 лет лагерей. Почти 18 лет он находился в лагерях в Молотовске (Архангельская область), Инте, Печоре (Коми АССР) и в ссылке в Красноярском крае. Реабилитирован в 1956 году.

Родители Евгении Гинзбург были также арестованы в августе 1937 года, обвинены в том, что являются отцом и матерью «врага народа». Через два месяца обоих освободили, дела были прекращены «за недостаточностью улик». Отец вскоре после освобождения скончался.

В день их ареста младшего сына Евгении Гинзбург — 5-летнего Васю Аксенова — передали в детприемник-распределитель, откуда его отправили в детский дом в Костромскую область. Адриан Васильевич нашел племянника в детском доме и в январе 1938 года забрал в Казань, к своей матери Евдокии, бабушке Дуне.

Васиными опекунами стали сестра и брат отца — Ксения (Аксинья) Васильевна (1895–1983) и Андриан Васильевич (1903–1979) Аксеновы. Старших детей забрали родственники.

Возможность переписки с родными появилась у Евгении Гинзбург в 1938 году в Ярославской тюрьме. Три года она ничего не знала о судьбе мужа, считала его погибшим и только в 1940-м, как видно из ее письма, получила от него первое известие. После начала войны их переписка вновь прервалась почти на три года.

Из текста писем становится ясно, что их было намного больше, но почта не всегда доходила. Поэтому из письма к письму повторяются одни и те же просьбы, сообщается одна и та же информация. Евгения Семеновна упоминает в них своих родителей, сестру Наталью, брата и сестру Павла Аксенова, у которых живет Вася. В письмах к мужу Евгения Гинзбург искренна и откровенна. Она честно пишет, что при очень большой любви в прошлом, память о которой остается неизменной, лагерь не только самым страшным образом изменил их жизненные обстоятельства, но и изменил их самих.

Для Гинзбург такой точкой отчуждения стала трагическая смерть старшего сына Алексея, погибшего во время блокады Ленинграда. В своем горе, которое, как она считает, с ней никто не может разделить, она находит человеческую опору и поддержку, встретив в лагере заключенного доктора Антона Вальтера, который становится ее третьим мужем.

Вот как об этом писала сама Евгения Гинзбург в «Крутом маршруте»: «У меня были сложные мучительные чувства по отношению к моему материковскому мужу Павлу Аксенову, вернее — к памяти Павла. Потому что, независимо от того, жив ли он, я была твердо убеждена, что мы никогда не встретимся. В той, другой, в первой моей жизни, которая теперь казалась



приснившейся, мы любили и понимали друг друга. Думаю, что мы никогда не расстались бы, если бы в это дело не вмешался Родной Отец, Лучший друг советских семей. И я продолжала любить Павла, как любят дорогого покойника. Странно, но мне казалось, что они с Антоном понравились бы друг другу. Я часто рассказывала Васе об отце в присутствии Антона, и он охотно поддерживал эти беседы. Не знаю, была ли я при этом преступницей и двоемужницей. Угрызений совести я не чувствовала...

Формально я могла считать себя вдовой, потому что еще в тридцать девятом, в ответ на мой запрос о судьбе мужа, мне дали справку: скончался от воспаления легких. Но после этой *точной* справки от него были письма. Когда погиб Алеша, мама телеграфировала мне: „Живи ради Васи, отца у него тоже нет“. Но и после этого были слухи, что жив, что на Инте».

В 1955 году Евгения Гинзбург добивается реабилитации и переезжает вместе с Антоном Вальтером во Львов. Именно здесь и был ею написан первый, гораздо более обширный вариант воспоминаний, который по разным причинам позже был ею уничтожен.

После смерти Антона Вальтера Евгения Гинзбург перебралась в Москву, где

и был написан новый вариант воспоминаний, который она назвала «Крутой маршрут». Надежды Гинзбург на публикацию не оправдались: наступило брежневское похолодание. Но рукопись зажила своей отдельной жизнью и стала одним из самых читаемых текстов самиздата, а вскоре была опубликована и за границей.

Скончалась Евгения Гинзбург в Москве в мае 1977 года.

Письма Евгения Гинзбург хранятся в архиве Центра исследования Восточной Европы Бременского университета, куда поступили вместе с другими документами из архива, вывезенного С. Бабенышевой в США. Сарра Эммануиловна Бабенышева (1910–2007) — критик, литературовед, активная участница движения в защиту А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля, сотрудничала с Фондом помощи политзаключенным и их семьям. В 1981 году эмигрировала в США.

На русском языке письма публикуются впервые.

19/7 40

СОВХОЗ ЭЛЬГЕН

Дорогой Павлуша!

Только что получила твое письмо от 13/5 и еще не могу утихомирить всей сумятицы чувств, которая поднялась во мне от этого письма. Пойми — ведь это первые слова, писанные тобой, которые я вижу за эти почти 4 года. Ни одного из твоих многочисленных писем я не получала, это — первое и пока единственное. Получила за все время от тебя 5 или 6 телеграмм. Это все. Очень огорчена и расстроена тем, что ты получил от меня только одну телеграмму и одно письмо. Я послала тебе, начиная с декабря 39-го<sup>1</sup>, 7 телеграмм

и 4 письма. И как жалко, что единственное твое письмо, дошедшее до меня, оказалось таким коротким. Я счастлива, конечно, что ты не здесь, не на Колыме, что ты имеешь возможность встречаться с нашим дорогим, бесценным малюткой<sup>2</sup>, дышать воздухом материка. Это дает мне надежду на то, что тебе удастся хоть в основном сохранить здоровье. Напиши мне, работаешь ли ты и на какой работе, что у тебя с ушами (ты пишешь, что болит ухо), в какой стадии находится пересмотр твоего дела, какую статью ты имеешь, какой суд тебя судил и какой у тебя приговор<sup>3</sup> — тюремное заключение или лагерь. Скорее всего ты уже писал об этом в пропавших письмах, но повтори ответы на эти вопросы несколько раз. Вообще, повторяй важнейшие сообщения по несколько раз, т. к. из многих писем я получаю лишь немногие. Ведь не забывай, какая даль отделяет нас друг от друга! С 4-го апреля я уже не живу в Магадане. Совхоз Эльген<sup>4</sup>, где я нахожусь сейчас, расположен в глубине тайги в 600-х километрах от Магадана. Здесь климат еще более суров и континентален. Сейчас стоит сильная жара, а зимой здесь морозы доходят до 70 градусов. 4-го апреля, когда пришел сюда наш этап и когда в Магадане стояли уже весенние дни, здесь было 42 градуса мороза. Зимой здесь так темно, что хоть глаз выколи, а сейчас стоят белые ночи. Куда ни посмотри — всюду, как стена, окружают нас сопки. Они суровы,

2 В воспоминаниях П. Аксенова «Последняя вера» есть упоминание о том, что в 1938 году ему было разрешено свидание с сестрой и сыном Васей, которого к этому моменту родственники Аксенова уже забрали из детского дома.

3 П. В. Аксенов был осужден по статьям 58-7, 58-11 (вредительство и контрреволюционная организационная деятельность) и приговорен Судебной коллегией по уголовным делам РСФСР к смертной казни, которую вскоре заменили на 15 лет лишения свободы.

4 Один из ОЛШов (отдельных лагерных пунктов) — подсобных хозяйств, сельхозподразделений Дальстроя в Тасканской долине.

1 16 февраля 1937 года ВК ВС СССР вынес Е. С. Гинзбург приговор — 10 лет тюремного заключения. Но 25 октября 1939 года приговор был изменен на 10 лет заключения в лагере, откуда она и отправляет письмо мужу.

величественны, декоративны. Яркость красок и обилие оттенков кажутся почти нереальными. А зимний пейзаж, с его ослепительными, алмазными снежными полями, с необозримостью просторов, нетронутых рукой человека, — напоминает Джэк Лондона, с одной стороны, а с другой — навеивает мысли о космосе, о первобытных временах, о ничтожности судеб человеческих по сравнению с этой извечной пустотой и широтой. Для меня в местном климате самое тяжелое — это необычайная разреженность воздуха. Мне, с моим пороком сердца, тяжело здесь дышать, особенно на работе. Весной здесь такое ослепительное солнце, такое преломление этих лучей в непогрешимо белом снегу, что невозможно ходить без специальных очков, иначе получается ожог глаза ультрафиолетовыми лучами.

А сейчас здесь столько комаров, мошек, оводов, мух, что мы все ходим на работу в специальных сетках — накомарниках. О моей работе. Я уже писала тебе, что и во Владивостоке, и в Магадане мне пришлось быть на самых разнообразных физических работах — я была и каменщиком, и землекопом, и возчиком, и уборщицей, и прачкой, и судомойкой. По приезде в Эльген, я три месяца работала в самой тайге, в самой гуще леса, на лесоповале, работала в качестве лесоруба. Это было мне очень нелегко. Как тебе известно, ни пилы, ни топора я в руках никогда в жизни не держала и мне пришлось осваивать это дело с большим напряжением. К великому моему изумлению, я оказалась не совсем бездарной в этом деле и научилась даже таким тонкостям этого ремесла, как пилка в одиночку. Особенно затрудняло то обстоятельство, что приходилось работать в снегу выше, чем по пояс.

Сейчас я уже на другой работе, которая меня устраивает больше — работаю в доме младенца медицинской сестрой (как пригодилось мне сейчас мое

небольшое медицинское образование!). Работа это тяжелая и нервная. Мне приходится обслуживать 45 детей в возрасте от 1 до 6 месяцев — но ты знаешь, как я люблю детей и как много всегда готова для них сделать. Не знаю, долго ли пробуду на этой работе; судьба моя за последнее время так изменчива.

Этот год в лагере кажется мне более длинным, чем 2 года Ярославского политизолятора<sup>5</sup>. Там, в тишине одиночки<sup>6</sup>, каждый отдельный день тянулся, но время в целом — не заполненное ничем, кроме своих душевных переживаний, — неслось с поразительной быстротой. Тяжелое было время, но зато удивительно насыщенное в смысле интенсивности интеллектуальной деятельности. Нигде не чувствуешь такой внутренней собранности, нигде не читается с такой глубиной и не работает над книгой с такой продуктивностью, как в одиночке.

Эти два Ярославских года не прошли для меня даром — мне кажется, я несколько выросла теоретически (о богатстве жизненного опыта и о фантастичности биографии и говорить нечего!), написала много стихов, которые лучше, чем те, которые ты знал. Многие из тех, кто слышал эти стихи, хвалили их. Родной мой, как я хочу почитать их тебе. Неужели никогда не настанет это счастливое время!

Пашенька! Тоскую о тебе и о детях даже по-звериному. Хоть бы привелось

5 Ярославский политизолятор «Коровники» — одна из специальных тюрем в СССР, был предназначен для содержания осужденных по политическим статьям. К заключенным применяли одиночное заключение. В 1935 году, как и все политизоляторы, переименован в тюрьму НКВД.

6 Вскоре Евгения Гинзбург из-за переполненности тюрьмы оказалась в камере вместе с Юлией Кареповой (1904–1991), до ареста сотрудницей биологического факультета Казанского университета. Осуждена 1 августа 1937 года ВК ВС СССР за участие в контрреволюционной группе правых в Казани. Впоследствии магаданская подруга Е. Гинзбург.



умереть около вас, дорогие, — о большем счастье я уже и не мечтаю. Какое горе, что фотокарточку Василька, которую, как ты пишешь, послала Аксинья, я не получила. Если ты можешь организовать присылку мне фотографий всех троих детей и твоей, то сделай это. Доставишь мне великую радость. О маме. У меня просто сердце разрывается от жалости к ней. Я не знаю, что там у ней вышло с Аксиньей и почему она не идет к тете, знаю лишь, что количества горя, которое ей пришлось перенести за последние 4 года, хватило бы на десяток таких женщин, как она. Знаю также и то, что по отношению ко мне она проявила за это время максимум чуткости и самоотверженности. Поэтому прошу тебя — если любишь меня — позаботься о ней. (Если будет когда-нибудь возможность.) Сегодня я получила от нее посылку. Это первая посылка за все время<sup>7</sup>. Я с восторгом перебираю свои старенькие вязаные кофточки, они пропитаны теплом нашего разбитого очага, от них веет нафталином и сладкими воспоминаниями. Вот в этой я последний раз держала в руках Васеньку, а в этой была, когда мы последний раз с тобой были в театре.

Павлик, родной мой, напиши подробно, какие перспективы у тебя на переосмотр дела и на освобождение. Ты спрашиваешь, какой ответ я получила. Но ведь я еще не подавала ни одного заявления. Напиши, советуешь ли ты подавать.

Ну, до свидания, мой любимый, единственный. Целую, обнимаю тебя, сыночка. Пиши чаще. Хоть какой-то процент писем да дойдет же до меня. Будь здоров, бодр.

Твоя Женя.

[приписка]

Привет бабушке, Аксинье,  
всем родным.

КОЛЫМА ЭЛЬГЕН 1/9 40

Павлушенька, родной мой!

Оно все-таки дошло до меня — твое февральское письмо, писанное в ответ на первое, полученное тобой от меня. И вот уже два дня я живу под знаком тех разнородных чувств, которые вызваны этими тремя листиками, густо исписанными твоей рукой. Твоей рукой! Как передать тебе, что значит для меня видеть твой почерк (реальное свидетельство того, что ты жив) после ярославских ночей, когда в кошмарный клубок сливалась тишина полного одиночества с неумолимыми догадками о твоей судьбе. Только Юлия К. (которая, через полгода после моего приезда в Ярославль поселилась со мной, разделив тоску тех дней) могла бы рассказать тебе кое-что об этом. Теперь, из этого твоего письма, я впервые узнала фактическую историю вопроса<sup>8</sup> и убедилась, что мои предположения были, в основном, правильны и логически вытекали из тогдашнего положения вещей. К великому счастью, в главном и решающем я все же ошиблась<sup>9</sup>. А ты, как я вижу из письма, думал обо мне то же самое, что и я о тебе, и тоже был очень недалек от истины.

Но нет худа без добра. Именно мысль о том, что тебя уже больше я не увижу, помогла мне почти с полным равнодушием пережить те московские дни. Было все равно. Только бы скорее.

Вот, родной мой, любимый мой, как одинаково мы с тобой переживали все. Зато теперь можем с полным правом сказать друг другу, что наша любовь сильна, как смерть и даже сильнее смерти. И это уже не литературная красивость, а живое, настоящее, выстраданное, оплаченное кровью сердца.

7 Евгения Гинзбург попала на Колыму зимой, доставка посылки стала возможна только после открытия навигации.

8 Речь о том, что впервые стали понятны обвинения и приговор П. Аксенова.

9 Опасения, что приговор был расстрельным.

Какое замечательное это твое письмо! Оно дало мне гораздо больше, чем другие два, более поздние, полученные раньше. Не только потому, что я узнала факты, до сих пор мне неизвестные (хотя и это страшно важно), но и главным образом потому, что оно такое эмоциональное, такое настоящее человеческое, любовное, что, читая его, я секундами как бы слышала твой голос, чувствовала прикосновение твоей руки. Паша! Чувствуешь ли ты, как я тоскую по тебе? Эта тоска такая напряженная, что, кажется, имеет какие-то физические измерения и должна по радио-волнам доходить до тебя. Ты пишешь — уверен, что еще будем жить вместе. Минутами мне тоже кажется, что это будет, что это должно быть, раз уж из бездны темноты и отчаяния вдруг выплыли эти листки бумаги, на которых твоей рукой написано — «моя Женюшенька». Но иногда кажется, что счастливые концы чаще бывают в романах, чем в жизни, что вряд ли для нас еще возможно жить вместе после того, как в течение трех лет самой горячей и самой неосуществимой моей мечтой было умереть вместе.

Милый, давай назначим друг другу заочное свидание. Помнишь, как у Герцена<sup>10</sup>?

Назначим число, день, когда мы оба будем думать друг о друге с утра до ночи. И каждый из нас будет знать, что другой в это время тоже думает о нем. Ну, возьмем хотя бы 1-е января 1941 года. Надеюсь, что к этому времени ты уже получишь это письмо. Ты пишешь о законности горя в человеческой жизни, о том, что только чередование светотеней, счастья

и несчастья и создает, по сути дела, самую жизнь. Это верно. На известном этапе горе облагораживает, возвышает над повседневностью, дает больше прав на звание человека. Но и здесь, как везде, количество переходит в качество. Иногда страданий становится столько, что они начинают быть уже просто оскорбительными для нашего человеческого достоинства. В такие минуты надо или переломить судьбу каким-то невероятным, гигантским напряжением воли, или уйти из жизни.

Пока я еще не дошла до такого состояния, но вероятность дойти до него мне ясна. Наконец-то я получила карточку Василька. Теперь у меня есть фотографии всех троих детей. Хочу получить еще твою и просила об этом Аксинью Васильевну.

Я мучительно тревожусь за Алешу. Уже больше полугода мама все пишет мне, что никаких известий от него нет. Может быть, она таким образом подготавливает меня к какому-нибудь страшному известию. Боюсь даже подумать...

Ну, до свиданья, дорогой мой. Пиши чаще. Видишь, хоть поздно, а доходят все же твои письма. Я тоже стараюсь писать, как только выдается свободная минута.

Целую тебя, обнимаю.

Твоя Женя.

3 ФЕВРАЛЯ 1941 Г. КОЛЫМА. ЭЛЬГЕН

Мой дорогой! На днях я получила твое письмо от марта 40 г., а вчера — мамину телеграмму, в которой она сообщает, что от тебя получили письмо (надеюсь — более свежее, чем то, что дошло до меня). Очень досадно, что мама не догадалась протелеграфировать твой адрес. Придется написать тебе через Казань.

Я уже несколько раз писала тебе о том, что в течение лета<sup>11</sup> 40 г. я получи-

<sup>10</sup> По-видимому, имеется в виду драматическая история отношений А. И. Герцена с его будущей женой Н. А. Захарьиной (Герцен). Об этих отношениях, встречах и разлуках писатель рассказывает в «Былом и думах», где приводится его переписка с женой, и других автобиографических произведениях.

<sup>11</sup> Колымские заключенные, как правило, получали письма, пришедшие за зимние месяцы, после открытия навигации.

ла от тебя целый ряд писем, писанных тобой в период январь — июнь 40 г. В июле получила телеграмму из Архангельска и с тех пор связь оборвалась. Опять целых полгода я ничего не знала о тебе и только на днях получила сначала письмо, а потом телеграмму мамы, из которых узнала, что ты — в Печорских лагерях<sup>12</sup>, что Аксинья получила одно из моих писем к тебе и переслала тебе его, что ты просишь прислать тебе кое-что из вещей, но посылок к вам<sup>13</sup>, так же, как и к нам, не принимают. Вот и все скудные сведения о тебе, какими я располагаю сегодня. А старые твои письма, которые еще продолжают прибывать ко мне [оторвано]... отражают уже пройденный этап твоей жизни и вызывают такое же двойственное чувство, как письма с фронта. Смотришь на дорогой почерк и радуешься, что хоть ю месяцев тому назад посылались эти горячие слова, а сердце в то же время замирает в тревожном вопросе — а жив ли сегодня мой корреспондент?

Летом и в начале осени, после получения твоих писем и телеграммы, я тоже довольно много писала тебе, но потом, не получая ответа, решила, что тебя отправили еще куда-нибудь и писать перестала. Так что сейчас я пишу тебе после длительного перерыва, примерно так месяца в 4. Может быть, это и неправильно. Может, в наших условиях надо писать и писать, не обращая внимания на отсутствие ответа, в расчете на то, что хоть что-нибудь, хоть когда-нибудь да дойдет до адресата. Но как-то не подымается у меня рука без конца швырять в эту пропасть свои письма — кусочки своей души.

Ведь о том, что я жива, ты всегда можешь узнать от родных, а в том, что раз жива, значит, по-прежнему люблю, помню и жду тебя (хоть до самой смерти), ты ведь и так уверен, правда?

Сейчас ночь. На дворе 50 градусов мороза. Передо мной на столе мигает копилка и лежит раскрытая книга. Это роман Тынянова «Кюхля»<sup>14</sup>. Книга о декабристе Кюхельбекере — друге Пушкина. Читала я ее и раньше, еще на воле, но никогда она не производила на меня такого потрясающего впечатления, как сейчас. И не самый факт гибели Кюхли так потрясает, а тот процесс перерождения, душевного оскудения и разложения, который происходил в этом человеке при переходе из крепости в сибирскую ссылку.

В одиночной камере Кюхля продолжал жить — он читал, писал, он лихорадочно работал, в нем нисколько не угас, а даже наоборот особенно ярко разгорелся тот священный огонь, который пылал в его душе и до ареста. Но вот, после нескольких лет крепости, Кюхля попадает в Сибирь, на поселение, и с ним происходит самое страшное, что может произойти с человеком, с революционером — он теряет себя. В мучительной борьбе за сохранение жизни, в самом прямом смысле этого слова, в борьбе с оскорбительной повседневной нищетой, заброшенный в этих снегах, он тупеет, перерождается, деградирует интеллектуально и морально. Как это страшно, [оторвано]. в тысячу раз лучше — погибнуть физически, но оставаться до последней минуты человеком?

И еще — помнишь, у Короленко есть такой эпизод<sup>15</sup>: в Якутии, среди местного

12 Печорлаг, Севпечлаг — один из крупнейших ИТЛ; его управление помещалось в городе Печора в Республике Коми.

13 Регламент получения посылок все время менялся. Бывали периоды, когда можно было посылать раз в квартал, в месяц. А были периоды, когда посылки не принимались совсем.

14 Тынянов Юрий Николаевич (1894–1943) — русский советский литературовед, прозаик, драматург. «Кюхля» — биографический роман о Вильгельме Карловиче Кюхельбекере, написанный к 100-летию юбилею декабристского восстания.

15 Этот сюжет в рассказах и очерках В. Г. Короленко якутского периода не обнаруживается. По-видимому,

населения он встречает дикаря, говорящего по-русски. Это такой же первобытный человек как все остальные его соседи. Он так же дик, груб, женат на тупой и грязной дикарке, вокруг него детеныши, прижитые в юрте, он раздирает мясо руками. Из разговора выясняется, что это политссылный, проживший здесь 10 лет. Конечно, все это картины далекого прошлого, отделенного от нас десятилетиями, но все же — как волнуют меня сейчас эти мысли, как невыносимо требуется поделиться ими с тобой.

Знаешь, Павлуша, я уже теперь никогда не мечтаю о том, чтобы нам с тобой снова жить вместе. Слишком трезво я стала смотреть на наши перспективы, чтобы тешить себя такими мечтами. Но от другой мечты я все еще не могу отказаться — от мечты о том, чтобы нам с тобой умереть вместе. Хотя когда-нибудь, хоть совсем уже старой, через много лет добраться до тебя, рассказать тебе все и умереть.

Ну, будь здоров и бодр, мой дорогой, мой настоящий друг. Ты не думай — я крепкая: это так — минута уныния.

Целую тебя горячо, мой любимый муж. Твоя Женя.

[НАПИСАНО КАРАНДАШОМ]

6. 41

Дорогой, родной мой Паша!

Вот и навигация открылась, а писем от тебя все нет. Но я все же не теряю надежды, что к концу лета придут твои письма все сразу, как в прошлом году, когда я, за короткий срок, получила от тебя восемь писем и 2 телеграммы. Знаю, что ты пишешь и, наверно даже часто, но — Боже правый! — столько препятствий должен преодолеть этот листочек бумаги, чтобы попасть от такого отправителя

к такому адресату!<sup>16</sup> Пожалуй, путь будет короче, если ты будешь писать свои письма через мою маму или Аксицию, с тем, чтобы они посылали их мне сюда.

Милый ты мой, ну где же ты, ну как же ты? Каждый час, каждую минуту я — в беспрестанной тревоге за тебя и эта тревога особенно мучительна потому, что я уже очень конкретно представляю себе все опасности, стоящие на твоём пути. Прошу тебя, умоляю тебя, во имя наших детей, во имя нашей любви — сделай все для сохранения своей жизни и здоровья. В какой-то мере это зависит и от отношения к самому себе. Я знаю, каким целеустремленным ты можешь быть, видела это десятки раз на материале твоей общественной работы.

А сейчас настал такой момент, когда ты должен всю эту целеустремленность, и ум, и энергию направить на достижение одной цели — сохранение жизни и, насколько это возможно, и здоровья. Все, абсолютно все, подчини этой главной задаче. Все можно перенести, пока есть надежда, а она есть, пока мы оба живы. Непоправима и устойчива только смерть.

Не знаю, надолго ли у меня хватит выдержки в этом вопросе, но до сих пор я, даже в самых тяжелых условиях, делала решительно все, что от меня зависело, чтобы сохранить жизнь, хотя бы до того момента, когда узнаю жив ли ты. (Ведь я больше трех лет не знала этого!) В одиночке Ярославского политизолятора почти не было дня за 2 года, чтобы я не занималась гимнастикой и не делала холодное обтирание. Только это и дало мне возможность не надломиться и не умереть в 39 году, когда от полного безделья, неподвижности и темноты одиночки

можно говорить о контаминации нескольких биографических зарисовок обитателей Якутского края в произведениях якутского цикла и в «Записках моего современника».

16 Переписка заключенных между лагерями была максимально затруднена или совсем запрещена. Именно поэтому П. Аксенов и Е. Гинзбург посылали письма не друг другу, а через казанских родственников.

я должна была резко переключиться на непривычный тяжелый физический труд на палящем Владивостокском солнце.

Правда сейчас, на пятом году, мне все труднее и труднее становится выдерживать этот принцип самосохранения. Минуты отчаянья приходят все чаще, и чаще мелькает мысль, что, в сущности, жизнь — особенно в теперешнем нашем положении — не стоит тех усилий, которые надо тратить для ее сохранения. Но я гоню эти настроения. Уже очень обидно погибнуть теперь, после этих четырех с лишним лет; тогда уж надо было кончать сразу, еще в 37-м.

Павлуша, знаешь, многие из окружающих меня здесь, считают безумием или притворством сохранение верности «материковскому» мужу, при условии 10-летних сроков и перспектив недолгой жизни вообще. Но у меня, разлука и все трагические события последних лет нашей жизни только обострили любовь к тебе. Я стою за верность при любых условиях и при любых сроках разлуки. Недавно мне пришлось прочесть стихи Эренбурга. Он вообще — не поэт, его прежние поэтические попытки были довольно беспомощны, но в этих последних стихах меня поразили две строфы из стихотворения «Верность». Они, по-настоящему, взволновали меня. Так созвучно моему настроению, что сама бы лучше не выразила. Вот эти строфы:

*Верность — прямо дорога, без петель,  
Верность — зрелой души добродетель,  
Верность — августа слава и дым,  
Зной его не понять молодым...  
Верность — вместе под пули ходили,  
Вместе верных друзей хоронили.  
Грусть и мужество. Не расскажу.  
Верность хлеба и верность ножу.*

Я даже не знаю, стоит ли задавать тебе деловые вопросы — что дал пересмотр

твоего дела<sup>17</sup>? Есть ли какие-нибудь реальные перспективы улучшения твоего положения? Думаю, что если бы что-нибудь было, то ты или мама сообщили бы об этом.

В прошлом году летом здесь много говорили о колонизации<sup>18</sup>. Я мечтала тогда о возможности твоего приезда сюда. Но сейчас эти разговоры что-то затихли.

Опиши Печору, среду, быт. Думаю, что, в основном, там не слаще здешнего, но все-таки ощущать под ногой материковскую землю и то уже счастье. Очень тяжело действует эта оторванность от всего мира, особенно зимой, когда кажется, что ты вернулась в какой-то каменный век: — 60-градусный мороз, бесконечные снега, эти занесенные палатки и бараки, серые бесформенные фигуры людей. Иногда кажется, что вся прошлая жизнь была каким-то сном. Здесь я, в шумном (даже слишком шумном!) коллективе, чувствую себя более оторванной от жизни, чем в Ярославской одиночке. Там было одно великое преимущество, которого здесь нет: газета. Там я имела возможность ежедневно получать Ярославскую газету «Северный рабочий», а здесь, если и увидишь газетку, то чуть ли не полугодовой давности. Между прочим, когда меня привезли в 37 г. в Ярославль, то председателем горсовета там был еще наш знакомый Гаврилов<sup>19</sup>, и я по газете следила за его величием и падением.

17 В 1939 году П. Аксенов был приговорен к высшей мере наказания, пересмотр дела дал замену приговора на 15-летнее лишение свободы.

18 Форма освоения труднодоступных северных территорий. На Колыме с 1932 года некоторым категориям заключенных за ударный труд разрешалось перейти на положение колонистов. Им предоставлялось право на выписку семей с материка. Колонпоселки являлись структурным элементом ИТЛ и подчинялись его администрации. В 1939 году программа колонизации на Колыме была закрыта.

19 Гаврилов Николай Афанасьевич (1906-?) — секретарь Ярославского областного комитета ВКП(б).

Из этой же газеты я узнала и о судьбе Альфреда Карловича<sup>20</sup> и его друзей. Так как я, несмотря на все пережитое, еще продолжаю оставаться довольно деятельной женщиной, то меня сильно интересовал вопрос — уехал ли вместе с ними мой бывший «приятель» Бейлин<sup>21</sup>. Но этого я так и не узнала.

Ну, Пашенька, родной мой, будь здоров. Мужайся. Как бы я хотела быть около тебя, чтобы в трудную минуту оказать поддержку. Вместе все было бы не страшно. Скажи откровенно, веришь ли ты, что мы еще встретимся с тобой когда-нибудь в жизни? А как необходимо встретиться, хотя бы только для того, чтобы поговорить. Напиши, что знаешь о детях, о маленьком сыночке.

Крепко, крепко целую тебя, обнимаю, очень тоскую и люблю.

Твоя Женя.

20 Лепа Альфред Карлович (1896–1937) — первый секретарь Татарского обкома партии с 1933 по 1937 год; репрессирован, реабилитирован посмертно.

21 Бейлин Абрам Григорьевич (1885 — после 1960), секретарь партколлегии Комитета партюстиции ТАССР. Репрессирован в 1939 году по ст. 58-8, 58-11, приговорен ОСО при НКВД СССР к 5 годам ссылки. Реабилитирован. Активно участвовал в травле Е. Гинзбург до ее ареста. В 1960 году как ни в чем не бывало отправил П. Аксенову письмо с поздравлениями в реабилитации. В ответ П. Аксенов написал: «Помню ли я Вас? Помню очень хорошо и никогда не забуду. Ваш официальный пост был секретарь партколлегии КПК, но фактически Вы этими делами не занимались. Насколько мне помнится, Вы были одним из самых выдающихся охотников по вылавливанию ведьм и еретиков. Усердие Ваше было настолько велико, что когда на полигоне не попадалось настоящих ведьм и еретиков, Вы вылавливали всех, кто попадал к Вам в руки, приклеивали им соответствующие ярлыки, предавали анафеме и затем отправляли на костер для сожжения. Я сам и моя семья были жертвами Вашей неумолимой деятельности. Разве я могу забыть момент, когда Вы отняли у меня партийный билет и предали проклятью, как троцкиста! Вы и Лепа настолько хорошо знали меня, что у Вас не могло быть никакого сомнения в моей преданности партии и абсолютной непричастности к какой бы то ни было троцкистской или другой антипартийной деятельности. И все-таки Вы, увлеченные охотой за ведьмами, пригвоздили меня к позорному столбу и отдали на закланье!»

8 ИЮНЯ 1941 Г.

Дорогой мой! Вчера, после долгого перерыва получила 3 письма от мамы и из них узнала кое-что о тебе. Не могу понять, почему же все-таки ни одно мое письмо не дошло до тебя. Некоторые я посылала на Аксиньин адрес, некоторые адресовала — Архангельская обл., Молотовск, почт. ящик 203<sup>22</sup>. Туда же давала и телеграмму.

Бесконечно рада, что твоя болезнь закончилась благополучно (напиши, кстати, чем ты болел), рада и тому, что находишься на приемлемой работе. Мама пишет, что пересмотра твоего дела все еще не было. М. б., надо было бы кому-нибудь лично поехать в Москву. По опыту многих видно, что успехом увенчиваются только лишь хлопоты родных, а никак не письменные заявления.

Обязательно напиши мне, какие пункты статьи<sup>23</sup> ты имеешь, я этого не знаю. Я работаю все там же, уже скоро год. Сейчас почти всех сняли с таких работ на полевую, но я пока должна работать.

Пишет ли тебе Вася? Меня он, видимо, совсем забыл, мама даже пишет, что он сомневается — родная я ему мама или двоюродная. Да, если даже и вернешься когда-нибудь, то дети будут абсолютными незнакомцами.

Ну, пиши же, пиши как можно чаще, м. б., хоть какое-нибудь письмо проскочит. Целую. Женя.

14/6 41

Дорогой, любимый мой.

Нет существа неблагодарнее человека! Если бы года три тому назад, в Ярославской одиночке, мне сказали бы, что вот настанет время, когда я буду держать в руках большое письмо от тебя, — я бы

22 Официальный адрес Ягринлага НКВД, который располагался в г. Молотовске Архангельской области.

23 П. В. Аксенов обвинялся во вредительстве и контрреволюционной организационной деятельности.

ответила, что тогда мне вообще ничего больше в жизни не надо. А сейчас, вот оно это письмо — лежит передо мной (и я, конечно, счастлива этим), но мне уже мало этого и наряду с радостью меня с новой силой грызет тоска и желание не только увидеть почерк, но еще и услышать голос, посмотреть в глаза. Ох, Пашенька! Я хочу сейчас на одну только минуточку позволить себе маленькую вольность — чуть-чуть приподнять ту железную броню, которой я оковала сердце на все эти годы.

Ведь только с тобой я и могу себе это позволить, во всех остальных письмах, словах, поступках я должна быть только мужественной. Так вот, милый, слушай, я кладу голову к тебе на плечо и говорю тихо-тихо, чтобы никто не подслушал: Пашенька, как я устала! Нет, не от страданий! Я могу вынести еще в десять раз больше, только бы быть с тобой рядом. Устала от разлуки. Неужели никогда? — И все. Больше я ничего не скажу малодушного. Опускаю приподнятый край железной брони на свое сердце, потому что, если этого не сделать поскорее, то оно может истечь кровью.

Только попутно хочу высказать одну мысль — о перемещениях понятий, в связи со всем пережитым. Вот, например, понятие героизма. Жены декабристов прославлены и историей, и литературой как героини, за то, что последовали за мужьями в ссылку. Я ничуть не хочу снижать эти прекрасные образы, я люблю их и тоже считаю героичными. Но поневоле в голову приходят смешные мысли, что ведь они ехали в прекрасных условиях, что ведь обратная сторона у Трубецкой: «покоен, прочен и легок на диво слаженный возок»<sup>24</sup>. А я вот, самая обыкновенная, средняя женщина, мечтаю не как о подвиге, а как о величайшем счастье, чтобы мне позволили хоть

пешком, хоть через все этапные тюрьмы и транзитные пункты добраться с моей Колымы до твоей Печоры. [Строка зачеркнута.]

Напиши мне, по каким пунктам 58 ст. ты осужден. Я до сих пор не знаю этого.

Павлуша, сегодня особенно тяжело. Получила письмо от мамы, узнала о переменах в жизни Майки. До сих пор хоть за нее была спокойна. А сейчас еще новый элемент тревоги внесен в существование. Что будет с девочкой, как отсюда помочь, как уберечь от сложной и грозной вереницы не угадываемых случайностей, которые стоят на ее пути.

Твое письмо блуждало по всему Дальнему Северу, прежде чем попасть ко мне, потому что ты забыл поставить на конверте слова «Бухта Нагаево»<sup>25</sup>. Не забудь этого в следующих письмах. В остальном — адрес правильный. Я, прошлым летом, послала тебе много писем и несколько телеграмм по адресу: Молотовск, Архангельская область. Не можешь ли ты добиться пересылки этих писем тебе?

Что касается жены твоего товарища, то я не встречала ее. Я расспросила здесь всех ехавших более ранними этапами, когда я еще была в политизоляторе, но никто этого имени не слышал. Очень жалко. Жена близкого тебе человека была бы мне сейчас как родная. Очевидно, она где-нибудь на материке. Узнала из маминого письма, что Васька наш болел дифтерией. Уже третья тяжелая болезнь без нас! На днях послала тебе более подробное и деловое письмо, а это просто так — лирический отклик на твое письмо. Ну, будь здоров и стоек, родной, родной мой!

Твоя Женя.

25 Бухта Нагаева — бухта в Тауйской губе Охотского моря, пересыльный пункт для отправки заключенных в лагеря Магадана и Колымы.

24 Строка из поэмы Н. Некрасова «Русские женщины».

5 ИЮЛЯ 1943 Г.

Дорогой Пашенька, так странно обращаться к тебе в это неизвестное далеко, обращаться, не зная жив ли адресат, дойдет ли до него письмо и будешь ли ты сама жива к тому моменту, когда он возьмет в руки перо, чтобы писать тебе ответ. Я стала суеверной — я так безошибочно чувствовала смерть папы<sup>26</sup>, так точно знала (только на основе своей интуиции) о гибели Алеши<sup>27</sup>, что теперь абсолютно убеждена в обоснованности тех явлений, которые мы ошибочно называем предчувствиями и которые на деле — не что иное, как проявления еще неизученной сферы высшей нервной деятельности. 3-го июля я видела тебя во сне и это был такой тяжелый, мучительный сон, что, проснувшись, я подумала: не случилось ли с тобой чего-нибудь плохого в этот день — 3-го июля 43 года? Родной мой, незабываемый, если бы ты знал, как капля за каплей истекает кровью сердце, при мысли о судьбе каждого из членов нашей семьи. Когда я думаю о тебе, то мысль о физических и материальных лишениях, перенесенных тобой за эти годы, как-то отходит на второй план. Мне больнее и невыносимее всего думать о твоей окровавленной душе. Много отдала бы за то, чтобы знать, чем ты живешь сейчас, в чем черпаешь силы для продолжения жизни. Ведь я знаю, что как бы ты ни любил меня и детей (их уже не трое, а двое, Пашенька) — все равно, ты не сможешь свести цель жизни к личному. Друг мой дорогой, как я хочу знать твои мысли, как напряженно и страстно мечтаю о беседе с тобой. Уже седьмой год, как мы не видали друг друга. Иногда уже и не можешь вызвать в воображении какую-нибудь деталь лица или фигуры, но голос, интонации и, главное, мысли

твои, разговоры наши — иногда острые, неразрешенные, но всегда предельно близкие — они стоят в сознании так весомо, зримо, осязаемо, как будто только вчера мы сидели с тобой на нашем старом, уютном диване в кабинете и говорили, говорили так, как могут говорить только настоящие друзья. Я уже писала тебе однажды, что здесь я встретила Аюпова<sup>28</sup>, быв. секрет. Татцика<sup>29</sup>. Он мне много рассказывал о тебе. Конечно, в изложении этого примитивного человека, ставшего к тому же типичным «доходягой»<sup>30</sup>, все получается в кривом зеркале, но все же кое-какие обрывки твоих мыслей, слов, переживаний дошли до меня. И он вот уже больше года все просит у меня хлеба, храня для этой цели, как талисман, волшебную фразу: «вот когда мы были вместе с Павлом Васильичем...» Но это между прочим. Милый мой, никого в жизни я не считала таким умным и благородным, как тебя, поэтому так жадно хочу знать твои ответы на вопросы, которые я задам тебе, если придется дожить до встречи. Ты понимаешь, конечно, что эти вопросы касаются того, как мне дальше жить, как найти дорогу. И стоит ли жить-то? Еще недавно, до смерти Лешеньки, у меня не было сомнений — жить надо. Эта смерть для меня все равно, что половина моей собственной. Вот так, полумертвая, и влачу сейчас жалкое существование, в котором минуты полного отчаяния и мечтаний о смерти,

26 Соломон Гинзбург умер в 1938 году.

27 Алексей Дмитриевич Федоров погиб во время эвакуации из Ленинграда 17 марта 1942 года.

28 Аюпов Тахави Тагирович (1900–?) — сотрудник Татцика, директор Московского института советского строительства. Репрессирован, приговорен в 1940 году к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован.

29 Татцик — ЦИК ТАССР. Учрежден в 1920 году и осуществлял почти все функции республиканского съезда Советов, кроме его исключительных полномочий; упразднен в 1938 году в связи с принятием Конституции ТАССР 1937 года и передачей функций Верховному Совету и Совнаркому ТАССР.

30 Доходяга — на лагерном жаргоне так называли тех, кто был настолько изможден физически и духовно, что дошел до предела человеческих возможностей.



как о великой избавительнице, перемежаются лихорадочными пароксизмами гнусного приспособленчества к этой чудовищной среде с ее бытом и нравами, десятками мелких компромиссов с совестью и с чувством собственного достоинства, — и все это для того, чтобы сохранить жизнь, которая в сущности — совсем не нужна. Я тебе не пишу о Ваське, о нашем бедном малюканчике. Не могу. Так же не могу писать о нем, как не могла с ним проститься 15 февраля 37 г.<sup>31</sup>, и он, котик, так и остался без ответа на свой вопрос: «а ты куда, мамуля, а ты куда?» Днем я стараюсь не думать ни о нем, ни о Леше. Но зато ночь мстит за это.

*Смертельно ранящая (только тронь),  
Воспоминаний взрывчатая зона...  
Боюсь ее, боюсь в ночи бессонной,  
И все же, невзирая на огонь,  
Без жалости к себе, без снисхожденья,  
Иду по этим минным загражденьям.*

Это из поэмы В. Инбер «Пулковский меридиан»<sup>32</sup>, о Ленинграде 41–42 г., о том Л-граде, где, брошенный всеми, погибал мой беззащитный ребенок. Хватит ли у меня сил когда-нибудь взглянуть в каменное лицо этого города, хватит ли у меня мужества, чтобы взглянуть когда-нибудь в лицо моей сестры, которая, убегая от опасности, не забыла отправить свои платья, но забыла (да, да, забыла, так она и маме объяснила!), что там остается, в смертельной опасности, мой сын.

Пашенька, родной, почему-то так выходит, что оба мы с тобой, в наших редких письмах, почти не касаемся конкретной, фактической стороны нашего теперешнего

существования. В основном, наверно, оба мы представляем себе правильно общую картину жизни другого, а отдельные варианты особой роли не играют. Я до сих пор не голодала. А ты? Работаю я то на общих, то на медицинской работе. Больше на медицинской, но обычно на кампании (посев, сенокос, уборка и т. д.) снимают на общие. Недавно проработала посевную (капусту сажала), а сейчас опять работаю лекпомом<sup>33</sup> в тайге, на лесоповальной командировке<sup>34</sup>; состав — исключительно бытовички<sup>35</sup>, причем самые «оторвы», жуткие типы — проститутки, убийцы, воровки. Уже несколько раз обкрадывали. Мучительное существование. На днях эта работа кончается, должен начаться сенокос, наверно, опять пошлют косить.

Физически будет очень трудно, но морально хоть отдохну от общества этих выродков.

И все-таки продолжаешь жить.

*Века сон торжественный и хрупкий.  
Человек не предаст мечты.  
Погибая, он спускает шлюпки,  
Сбрасывает сонные плоты.  
Синевой охваченный, он бредит,  
Что земля любимая близка,  
Что ударится о сонный берег  
Легкая, как жалоба, доска.  
Видя моря горестную смуту,  
В темноте, охваченный волной,  
Он еще в последнюю минуту  
Бредит берегом и тишиной»<sup>36</sup>.*

Знаешь кто это? Эренбург. Он за последнее время демонстрирует загадочное противоречие — фельетоны его становятся все слабее, а, наряду со слабой (чтоб не

31 15 февраля Евгению Гинзбург вызвали на работу, где арестовали. Ордер на арест оформлен 16 февраля 1937 года.

32 Инбер Вера Михайловна (1890–1972) — советская поэтесса. Поэма «Пулковский меридиан» посвящена блокадному Ленинграду.

33 Лекпом — помощник врача, лекаря.

34 Лагерные командировки являлись подразделениями ОЛПов — отдельных лагерных пунктов.

35 Арестованные по бытовым статьям.

36 Стихотворение И. Эренбурга «Где играли тихие дельфины» в первой редакции.

сказать больше) прозой, появляются такие волнующие, такие настоящие стихи. Так и мы, дорогой мой, далекий друг, «мы еще в последнюю минуту бредим берегом и тишиной».

Да, тишины очень хочется. А мы с тобой, Павлушенька, так много шумели и торопились.

Теперь бы вернуть то время. Помнишь, как я тебе стихи писала, «Лирическая минута»:

*«Милый, давай, ненадолго  
Сядем на старый диван...»*

А ты не соглашался сесть на минуточку, в глаза посмотреть друг другу... Знаю, знаю, что любил ты меня больше жизни, но некогда было нам с тобой, торопились. Это не в упрек, мое солнышко. Это просто воспоминание о том, как мы смяли, как сломали сами свою единственную, свою неповторимую жизнь. Я за первые годы разлуки много стихов написала (теперь-то уже нет, теперь душа опустошенная), большинство из них тебе и о тебе.

*...«Мы с тобой пойдем в любую замять,  
В ширь и топь нехоженных равнин,  
И о нас, поверь, не злую память  
Сохранит наш синеглазый сын».*

Хоть бы остался он в живых: хоть бы остался кто-нибудь, кто сможет рассказать ему о нас. Помни меня, родной мой, помни наших несчастных детей. В мысли о них черпай мужество.

Целую тебя нежно, обнимаю, в глаза смотрю. Твоя Женя.

21/8 43

Пашенька, хороший мой, ну почему же ты ничего не получаешь и мучаешься из-за меня? Я послала тебе за последний год 3–4 письма через маму. Ни одно не дошло?

А писать мне очень трудно, так же как трудно говорить, работать, двигаться, жить. Я не могу избыть свое горе, я не могу даже ослабить его остроту. Мое существование проходит в сплошной пытке — в смертельно ранящих воспоминаниях о сыне, в отчаянных попытках хоть на минуту найти забвение и в страхе перед этим забвением. Все остальное пережитое и переживаемое мной кажется мне сейчас пустяком, легкими неприятностями, по сравнению с тем адом, который я ежеминутно ношу сейчас в душе вот уже год. Но почему ты мне не пишешь? Почему не вложишь письмо ко мне в письмо к маме? А то она передает мне своими словами текст твоих писем, а почерка твоего не вижу. Вчера от Васьки письмо получила. Сообщает мне, что записался в «фескультурный» кружок. (Васька чудовищно безграмотен для своих 11-и лет.) Сообщает о какой-то военной игре на стадионе «Динамо», а между прочими сообщениями вдруг такая фраза: «Мамочка, мы получили известие, что папочка скоро приедет домой». Я так волнуюсь весь день. Правда, мама пишет, что это необоснованные слухи, но все же — где их источник?

Так много мне надо сказать тебе, родной, а слова так плохо ложатся на бумагу. Когда-то я здорово умела выразить любую мысль, любое чувство, а теперь не могу, потому что основное заполняющее меня чувство — отчаяние, а оно лучше всего выражается молчанием. У меня больше нет мечты — жить с тобой. Но осталась еще у меня одна пламенная сокровенная мечта — умереть около тебя. Взять за руку, в глаза посмотреть и умереть. А до этого счастья еще, может быть, и доживу. Правда, ведь, дорогой, дорогой мой? Знаю, что не забываешь, и я помню и целую нежно.

Твоя Женя.

4/11 44. КОЛЫМА. ЭЛГЕН

Пашенька, дорогой, любимый!

Только что отправила тебе через Васю одно письмо и тут же пишу второе. Боюсь, что первое не дойдет. А может быть, на счастье, дойдут оба... На всякий случай, повторяю кратко: от тебя я не получала ничего с осени 41-го года<sup>37</sup>, т. е. около трех лет. Вася, Аксинья и моя мама тоже не получали от тебя ничего больше 2-х лет. На все мои вопросы, отвечали: «не пишет». Значит, все твои упреки и опасения, что тебя забыли, отпадают. Я не забывала тебя, но я чаще всего думала, что тебя нет в живых. И вот передо мной — твое письмо. После трехлетнего перерыва я снова вижу твой почерк... Как передать то великое смятение чувств, которое обхватило меня, ту волну воспоминаний, волнующих мыслей... Для этого нет подходящих слов, да их, пожалуй, и не надо. Ведь ты и без них поймешь, что я испытываю сейчас, так же как я поняла все, что ты написал мне. Поняла каждое слово, каждую мысль, в том числе и ненаписанную. Все, что ты пишешь о сомкнувшемся вокруг тебя круге одиночества и пустоты, об отрыве от всех и всего дорогого — все это я пережила и переживаю, и никто не поймет тебя в этом так, как я. Но ты, Паша, хоть имеешь еще возможность мечтать о счастье... «увидеть тебя, детей своих, всех родных...», а у меня нет уже и этого утешения. Я уже твердо знаю, что самого дорогого я уже не увидела, что нет больше моего старшего сына — жизни моей, радости, света, цели...

Ты еще можешь писать «наши дети», а я уже нет. Только — «мой ребенок», мой последний, мой единственный теперь малыш, ради которого надо и дальше брести по колючей дороге, потому что, может

быть, я еще ему понадоблюсь. Весь этот страшный мрак отчаянья проплыл и еще плывет надо мной и никто, никто на свете, мой друг, мой дорогой товарищ, не поймет тебя поэтому лучше, чем я. Ты говоришь, что писал мне за эти годы много писем. Они пропали. Должно быть, в них выражалось и твое отношение к смерти Алеши. Но вот это, единственное дошедшее до меня (от 18/7 44 г.), не говорит о нем ни слова. А я так ждала... После катастрофы я получала много писем. Бесконечный поток скорбных, разрывающих сердце писем мамы, полные искренней горечи письма его тетки — Лели Федоровой<sup>38</sup>, вежливо-холодное соболезнующее письмо Майки (первое и последнее почти за 8 лет!), Васькины милые каракульки... Только доктор Федоров<sup>39</sup> ни разу в своем горе, все же не дошел до такого уровня, чтобы забыть свой страх перед связью с холодными климатическими поясами<sup>40</sup>. Да сестра моя Наташа, удравшая из Л-града в первый же день войны и «забывшая» там моего сына, — ничего не написала мне. И я все время думала: если бы Паша был жив! (Да, да, так я думала!) В те страшные дни именно к тебе неслись мои мысли, именно тебя я — не формально, а всем нутром — воспринимала, как отца моего погибшего ребенка. Поэтому мне очень больно, что в твоём письме нет ни слова об Алексее, хотя я и сознаю, что ты, наверно, много писал о нем в тех, в пропавших письмах.

Хорошо, если бы ты получил и это, и то мое письмо! Там я пишу тебе, что смерть сына сделала то, чего не смогли сделать все другие испытания, — я оказалась окончательно сломленной. Та горячая, трепетная любовь, которая сквозит

37 С началом Великой Отечественной войны в лагерях был введен запрет на переписку заключенным по политическим статьям.

38 Ольга Николаевна Федорова, сестра Дмитрия Николаевича Федорова.

39 Дмитрий Николаевич Федоров, доктор, отец Алексея, старшего сына Е. Гинзбург.

40 Намек на страх многих людей поддерживать контакты с заключенными.

в каждой строке твоего письма, адресована, по существу, к той прошлой Жене, которой уже не существует. Помнишь, стихи Блока: «Я и сам теперь не тот, что прежде — неподкупный, гордый, чистый, злой... Я смотрю добрей и безнадежней на простой и скучный путь земной...»<sup>41</sup>

Писала я тебе там и о том, что ты напрасно думаешь будто твой образ изгладился из моей памяти. Конечно, острота сгладилась. Первые годы мне казалось, что если вот скоро, вот сейчас не кончится эта разлука — я умру, лопнет сердце. А сейчас нет... Сейчас я знаю, что не умру от этого; будет и дальше тянуться — день за день... Но всякое, даже самое ничтожное упоминание о тебе, даже твое имя на телеграфном бланке делает меня безумной, одержимой. В эти минуты я снова — «больше не могу...».

(Потом проходит и оказывается, что я могу еще много.) А восприятие тебя то же, что было 14 лет тому назад, в дни, когда начиналась наша любовь: — выше, чище, идейнее, благороднее — я не видела человека за всю мою жизнь. И к Ваське у меня только одно пожелание: будь как отец. Пиши, родной. Пиши через Васю или маму. (Ее адрес — Рыбинск, ул. Чкалова, д. 16 кв. 2. Она там у Наташи.) Такой путь вернее, чем прямо от тебя ко мне! Не думай — помню.

Памятью сердца. Целую, обнимаю, в глаза смотрю.

Твоя Женя.

12 ИЮНЯ 45-ГО

КОЛЫМА. ТАСКАНСКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ

Пашенька, родной, дорогой мой!

Какой ты глупый! Ну неужели ты думаешь, что я не писала тебе, неужели ты воображаешь, что какие-то ничтожные восемь лет могут стереть твой образ

из моей памяти! Да хоть бы их было не восемь, а восемьдесят — все равно им это сделать не удастся. Я не понимала до сих пор, что творится с письмами, почему то ты от меня, то я от тебя ничего не получаем по два года. Теперь, мне кажется, я установила определенную закономерность. Мне кажется, что те твои письма, которые были посланы на адрес мамы или Васи, я всегда получала. А те, которые ты писал на адрес нашей девочки — Евочки<sup>42</sup>, никогда не доходили. Я думаю, это объясняется тем, что Евочкин дядя совсем не заинтересован в поддержании нашей связи. Очевидно, аналогичная история произошла и с моими письмами к тебе. Теперь я буду всегда писать или на мамин, или на Васькин адрес. Одно из моих больших писем к тебе Васюкан уже получил и уведомил меня телеграммой, что он его передает тебе. Надеюсь, что это письмо ты уже получил.

Вчера я получила твое письмо от 12/2 этого года, пересланное мамой.

Всего только 4 месяца назад ты писал его, значит это твои сегодняшние мысли, это какой-то кусочек твоего нынешнего душевного облика.

Нечего и говорить тебе о том душевном смятении, какое охватывает меня всегда, когда я получаю твои письма. Ты сам понимаешь эту смесь радости, тоски, тревоги, надежд, отчаяния.

42 Чтобы не возбудить подозрения у лагерного цензора, Е. Гинзбург писала о себе в третьем лице, используя имя Ева как производное от Евгении. Евочкин дядя — имеется в виду как раз такой цензор. «Надо было сообщить маме как можно больше о себе и узнать от нее все, что можно, о муже, о детях, о всех родных и друзьях. Как сделать это? И вот мы придумали писать о себе в третьем лице. Была проведена длительная подготовка. Прежде всего, надо было придумать для меня второе имя. Что можно придумать от Евгении, кроме Жени? Ага! Ева! Малютка Евочка, сестренка Наташи». — так это Е. Гинзбург описывает в «Крутом маршруте».

41 Цитата с небольшими искажениями из стихотворения А. А. Блока «Перед судом».

Но я попытаюсь сейчас обуздать свои чувства и ответить тебе на все поднятые тобой вопросы. Во-первых, по поводу твоей мысли о том, что нет уже прежней Женюшеньки и нет прежнего «Павлюкана», потому что, мол, за эти долгие годы нашего скорбного пути каждый из нас прошел через полную душевную трансформацию. Не согласна я с этим. Есть они оба — и Женюшенька, и Павлюкан. Они, конечно, порастеряли многие из прежних иллюзий, они на многое смотрят теперь другим, просветленным взором, тем ясным взором, который дается человеку только страданием. Но все же это именно они, прежние люди. Изменился взгляд на многие вещи, изменилась внешность, здоровье, настроение, но основы личности остались те же. Я никогда не соглашаюсь с такими фразами, которые имеют здесь широкое распространение: «На материке он (или она) был порядочным человеком, а здесь стал мошенником...»

Чепуха! Тот, кто был порядочным, тот порядочным и остался. Те суровые условия, в которых нам с тобой приходилось за это время бывать, они только как лакмусовая бумажка выявляют основные черты каждого характера, а не изменяют их радикально. Повторяю, основы личности остаются неизменными, а выявляются и расцветают пышным цветом только те черты, которые и раньше были потенциально заложены в данном характере. Поэтому не бойся, мой Павлюкан, что ты не узнаешь свою Женюшу. Может быть, глаза уж теперь не такие «лучезарные», как ты пишешь и как они тебе вспоминаются, но сердце все то же, все то же, которое ты знал и любил. Ты высказываешь опасение, что процессы душевной перестройки, которые каждый из нас переживал порознь, могли привести нас к разным результатам. Ну, а если даже так? Не опасно. Отдельные взгляды могут у нас и разойтись, но исходная точка, я убеждена, осталась

единой. Этому порукой наша дружба, которая родилась не из совпадения точек зрения по отдельным вопросам, а из органического родства наших душ. (Эх, давай уже не побоимся такого сугубо идеалистического выражения!)

Не бойся, мой Пашенька, тебе не придется краснеть за мой моральный облик. Я знаю, что ты, живя в обстановке, аналогичной моей, сталкиваясь с проявлениями полного распада личности, — ежеминутно думаешь: «Как там она? Не забрызгалась ли она этой грязью?» Нет, дорогой, не бойся. Даже башмаков не забрызгала. Конечно, за эти годы немало я сделала ошибок, немало было (даже в рамках этой убогой жизни) горечи и разочарований, но все это питалось из чистого источника. — Не надо бояться нашей встречи. Мы оба не сделали ничего, что помешало бы нам честно посмотреть в глаза друг другу. Я, правда, сама боюсь ее, но совсем с другой точки зрения, чем ты, — я просто боюсь не выдержать этого напряжения чувств. Я еще в Ярославле писала на эту тему стихи, где была такая строфа:

*«И что сладким самумом примчась,  
Сокрушая удалые плечи,  
Он обрушится вдруг на нас  
Потрясающий миг нашей встречи».*

Но... Вот тут-то и начинается второй и, пожалуй, самый существенный пункт наших разногласий. Но с чего ты взял, что вопрос об этой встрече уже стоит в порядке дня? Мой милый Оптимистико! Я думаю, что даже при существующих темпах нашей переписки мы успеем очень хорошо выяснить все вопросы, связанные с встречей, в течение тех долгих лет<sup>45</sup>, которые еще до этой встречи остались.

45 Согласно приговору в заключении П. Аксенов должен был оставаться до 1952 года.

Еще одно, с чем я несогласна в твоём письме — это мысль о том, что ты никому не нужен, что, мол, я «рядовой, серенький человечек» и т. д. Откуда у тебя это уничижение паче гордости?

С каких это пор ты стал так думать о себе или предполагать, что я так думаю? Что ж, разве твоё общественное положение делало тебя содержательным, значительным человеком? Разве утрата этого положения сделала тебя другим? — Нет, Павлюкан, ты умнее этой фразы! (как любила говорить Нусинова). Я думаю, что ты написал её не всерьёз, а просто в этой форме изложил другую, подспудную мыслешку: «а не разлюбила ли ты меня, Женюшенька, поскольку я теперь бухгалтер, а не ... и т. д.». Сознайся, ведь так? И ты можешь так обо мне думать! — А общее настроение твоего письма полностью созвучно мне. Мучительные мысли о цели жизни, о душевном кризисе, о своей ненужности, через все это я прошла, так же, как и ты. Так же, как и ты, натолкнулась в этих исканиях на идею Добра, т. е. Бога. Особенно остро и болезненно стоял передо мной вопрос этот в те страшные дни, когда я узнала о гибели Алешеньки. В бесконечные бессонные ночи, когда я с отвращением и трепетом перелистывала мысленно страницы своей жизни, мне становилось ясно, что гибель моего старшего сына, первенца моей души — это возмездие мне за то зло, которое я делала людям, пусть иногда бессознательно. И теперь, представь себе, я нахожу некоторое удовлетворение в том, что мы раньше, презрительно именовали «теорией малых дел».

Накормить голодного, помочь больному, успокоить плачущего — оказывает-ся, это даёт удовлетворение. Я нахожусь на такой работе, где возможностей для такой помощи людям очень много — я работаю лекпомом в больнице и среди наших больных нахожу многих, кому надо помочь и словом, и делом.

Я тоже недавно получила Васькину карточку. Красотой наш сыночек не вышел, правда, Пашенька? Он и у тебя, и у меня взял, что похуже. У тебя отваленную нижнюю губку, у меня — нос картошкой. Но зато, видно, умный и хороший парень. А замечаешь, какой он деловой, какой родственный, как систематически поддерживает связь и с тобой и со мной? Сердце у меня за него болит, просто на части рвется. Время от времени я посылаю для него Аксинье сколько удастся собрать — то 100, то 200 рублей. В этом мне помогают мои новые друзья, а они у меня здесь есть и такие люди, что, я уверена, станут и твоими друзьями. Многого еще надо написать, но для одного письма и так уже много. Напиши мне немного подробнее о конкретных условиях твоего бытия. Ты пишешь, что иногда болеешь. Чем? Изложи, посоветуйся со своим собственным лекпомом.

Ну, мой родненький, мой любимый, будь здоров. Пиши мне на адрес мамы или Васьки. Целую, обнимаю.

Твоя Женя.

17/6 [1945]

КОЛЫМА. УСТЬ-ТАСКАН. ПИЩЕКОМБИНАТ

Пашенька, родной!

Сейчас 12 часов ночи. Я дежурю по больнице. Все спят кругом, я сижу у окна. За окном белая колымская ночь. Лиловеют сопки, свистит холодный ветер (да, да, холодный, хоть сегодня и 17-ое июня), а радио передает тихую, нежную музыку — скрипку.

Великая тоска терзает меня. Сочетание этого пейзажа и этих звуков — точно кадр из кинофильма... Несколько дней тому назад я получила твоё письмо от 12/2 45. Уже написала два ответа — один посылаю на адрес мамы, другой на адрес Васьки, а третий пишу вот сейчас, на тот адрес, по которому уже столько писала, а ты не получал. Хочу попробовать еще раз.

Если дойдет — извести меня об этом телеграммой. Адрес — Бухта Нагаево. Усть-Таскан<sup>44</sup>. Пищекотбинат. Мне. Но письма посылай через маму или Васю. Это вернее.

Павлуша, солнышко, что за безумные мысли ты высказываешь в своем письме?

Любимый мой, единственный, неповторимый! Ты сошел с ума, если думаешь, что кто-то или что-то может вытеснить тебя из моего сердца. Никогда, слышишь, никогда не смей писать мне этого! Пусть не в девятый, а в сотый раз я встречу колымскую зиму, пусть не год, а десять лет я не получу от тебя письма, пусть я стану старухой — все равно: каждую мою мысль я буду в душе высказывать тебе, каждое страдание делить с тобой, всегда буду мечтать о нашей встрече, даже если умом буду сознавать, что она невозможна. Зачем ты написал эти жалкие слова о том, что ты, мол, никому не нужен, т. к. — «я серенький, рядовой человек... и т. д.»? Разве ты не помнишь, что я говорила и писала тебе всегда о том, что ты самый благородный и умный из всех встреченных мной в жизни людей? Уж не думаешь ли ты, что я изменила это мнение из-за «наших изменившихся отношений к обществу», как ты деликатно выразился! Неужели ты можешь подозревать меня в такой низости. Нет, не твое общественное положение определяло мое отношение к тебе, а ты сам. И если что-нибудь могло нас сделать еще более близкими, чем мы были раньше, то это именно тот общий скорбный путь, который мы прошли за эти годы. Не надо, не надо, родной мой, близкий мой, любимый, — не отягощай свое сердце, и без того окровавленное, подозрениями об измене друзей. Друг мой, муж мой, отец

моего сына! Всегда, всегда я твоя, всегда все мысли о тебе. Жду тебя всегда, умоляю Бога послать мне великую милость — если не жить вместе с тобой, то хоть умереть вместе с тобой. Помни это. Только в те годы, которые я прожила с тобой, я была счастлива. Мы не ценили, не умели пользоваться этим счастьем, мы транжирили драгоценные минуты, отведенные нам судьбой на бесполезные занятия. Пашенька, почему ты ни слова не пишешь мне об Алеше? Ведь ты знаешь, что он погиб? Почему же ты молчишь? Это так дико мне. Ведь только к тебе я обращалась мысленно в те страшные дни, когда узнала... Только за твою руку хотела держаться, чтобы не упасть окончательно под этим решающим ударом. Боже, как я жалею теперь, что я родила только двоих детей! Какое у меня неутоленное материнство! Если бы, после Васьки, я родила еще парочку, может быть был бы еще стимул для дальнейшей борьбы. А теперь... Ты знаешь, чем был для меня Алеша. В первые месяцы после получения страшной вести мне казалось, что сердце окончательно разбилось. Но оказалось, что случилось более страшное! Сердце не разбилось, — оно окаменело. Это хуже. Ты спрашиваешь, есть ли еще на свете прежняя Женюша. Я отвечаю тебе — да, есть. Я прежняя в том смысле, что целы мои старые привязанности, целы идеалы, не потеряла я человеческого достоинства. Но нет прежней Женюши в том смысле, что погас уже в душе священный огонь, уже не загорись от разговора со мной, не вспыхнет то, что уже обуглилось. Клянись тебе, что если бы не гибель сына, я была бы полностью прежняя. Не хвалясь скажу, что в смысле личных испытаний, я оказалась крепкой, очень крепкой и физически и морально. Первые три года я даже считала, что мне на пользу все случившееся.

Я уже писала тебе, что в Ярославле я переживала исключительный подъем всех духовных сил. Никогда ни до, ни после

44 Усть-Таскан — один из ОПов Севостлага, сейчас село в Ягоднинском городском округе Магаданской области.

этого я не жила такой активной интеллектуальной жизнью, как там. Я написала там и в стихах, и в прозе много неплохих вещей. Мечтаю прочесть их когда-нибудь тебе. Там я сумела достичь наиболее высокого состояния человеческого духа — отвлечения от личного и полного переключения на общие вопросы. Конечно, здесь это было уже труднее, но все же до Алеши я держалась.

Хватит об этом. Подожду, что ты мне ответишь. Только напомним тебе два момента, которые кажутся мне полными какого-то мистического смысла и предзнаменования. Первый — в Самаре, в 35 г. Помнишь, как мы, катаясь по Волге, пошли осматривать город втроем — ты, я и Алеша. помнишь, как он вдруг беспричинно расплакался на улице. Нам показалось ужасно странным. Ведь ему было уже 9 лет и вдруг такие немотивированные слезы. Вот в ту минуту у меня вдруг сердце сжалось острым предчувствием какой-то беды, нависшей над моим сыном. А второй эпизод — в Москве, в конце 36 г., когда мы жили так же втроем в Киевской гостинице. помнишь, мы с тобой задержались и пришли поздно, а он боялся один и мы застали его сидящим на лавочке, в коридоре? Когда я увидела эту одинокую фигурку, такую беспомощную и напуганную, снова то же жгучее предчувствие беды охватило меня. Это была интуиция...

Как трудно писать тебе, Пашенька. Не знаю, получишь ли, не знаю о чем раньше сказать, как лучше выразиться, чтобы тебе было понятно. Так много надо сказать, что материал захлестывает. Да, мой милый, страдание облагораживает, смягчает душу, когда его дается в меру. Но когда его слишком много — оно опустошает. Я смертельно устала. Пожалуй, и у меня одно желание, несколько тихих вечеров в беседе с тобой и с сыном, последнее прости моей старушке, да и... пора уснуть.

Ну, дай же руку, милый. Целую тебя. Твоя Женя.

[НАПИСАНО НА БЛАНКЕ НАКЛАДНОЙ  
ФИНСКОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ]

1/7-45

КОЛЫМА. ТАСКАНСКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ

Пашенька, родной!

Когда горе такое острое, как у меня, — есть только один способ остаться в живых — полностью уйти в повседневность, в ритм своих ежедневных обязанностей и мелких дел. Нельзя думать ни о чем не только прямо относящемся к твоему горю, но даже и о том, что хотя бы косвенно ассоциируется с ним, надо гнать от себя всякую мысль, которая царапает ту броню из повседневных дел, которой та одела свое сердце. Вот в этом-то и лежит причина того, что я пишу теперь тебе меньше, чем до 42-го года. Ты не прав, упрекая меня в том, что я не пишу тебе совсем. Я пишу, но письма, очевидно, теряются. Это видно из того, что и я получаю от тебя мало, очень мало. В 44 г. — одно письмо, в 45 — тоже одно, но ведь ты говоришь, что пишешь очень часто. Повторяю, я пишу, но, конечно, пишу редко — 2-3 раза в год, в то время как до 42 г. я писала по нескольку раз в месяц. Пойми: — ты — это прошлое, это — утраченная жизнь, ты — это мои дети, ты — это Алеша.

Писать тебе — это значит каждый раз отдать сердце на растерзание тем воспоминаниям о моем погибшем ребенке, которые смертельно ранят, как только трогашь их слегка. Уже скоро три года, как я узнала о смерти его, моего первенца, моего мальчика, того, в кого были вложены все силы моей души. Я уже писала тебе, что именно этот день, а не 15-ое февраля 37 г., сломил меня. Все те муки я принимала, как испытание, эту принимаю, как катастрофу, как полный крах моей жизни. Все, что идет и еще пойдет вслед за этим — это только дотягивание лямки до конца. И чтобы тянуть ее, а не броситься в пропасть, надо работать, работать без оглядки, без остановки, как будто в жизни нет и не



было ничего, кроме этих сопок, этого снега и ежедневного труда. Каждая остановка, каждый взгляд внутрь своей души — это непереносимая боль. А вот эти дни, когда я ежедневно получаю письма — от Васьки, от мамы и, наконец, такое редкое — от тебя, они полны этой неизбывной муки. (Покойники, лежащие в могилах, выгодно отличаются от нас тем, что им не дано узнавать о судьбе дорогих им людей, о бедах, постигших этих дорогих, уже после ухода покойников к праотцам.) К тому же еще, в нашей больнице, где я работаю, появилось радио, так что мои мучительные воспоминания протекают под звуки хорошей музыки, рождающей тысячи ассоциаций [с] милым прошлым и обостряющей боль еще тысячекратно. Писать к тебе — это значит думать об Алеше, думать о том, каким счастливым, здоровым, красивым, 19-летним студентом был бы он сейчас, если бы о нем продолжали заботиться мы с тобой. Представлять себе картины, как взрослые дети наполняли бы радостным шумом нашу квартиру, как я бы с радостным удивлением прислушивалась к тому, что они ведут уже совсем умные отвлеченные разговоры, как мы с ним спорили бы на разные теоретические темы, как он вел бы меня под руку по улице, и никто не верил бы, что этот взрослый мужчина — мой сын, как я волновалась бы по поводу его первой влюбленности и т. д., и т. д. Так возможно, так близко было все это... Писать тебе — это значит снова и снова с режущей сердце болью вспоминать, осознавать, что ничего этого уже никогда не будет, что все безвозвратно и непоправимо, что от Алеши не осталось у меня даже могилы, что осталась только маленькая карточка, с которой такое хорошее юношеское лицо смотрит на меня моими собственными глазами, да история болезни с такими страшно знакомыми диагнозами, как полиавитаминоз и алиментарная дистрофия.

(Мне прислали из б-цы, где он умер, эту историю.) Диагнозы не оставляют у меня и тени сомнений ни в причинах смерти, ни в обстоятельствах жизни. Ну, кроме того, имею сообщение, что доктор Федоров сейчас — в чине подполковника, отлично выглядит, хорошо одет... Писать тебе, Пашенька, тебе, тому, кто десятки раз разделял со мной бессонные ночи у постели этого ребенка, кто только и может считаться его отцом и перед Богом, и перед людьми — писать тебе значит без жалости к себе, шагать по минным заграждениям этих воспоминаний, этих мыслей. Поэтому я иногда щажу себя. Поэтому я пишу редко. Пойми. Прости. Но ты пиши чаще, родной. Я буду отвечать.

Наш сыночек, наш Васюканчик, прислал мне вчера 2 письма. Хочу за этими каракульками разглядеть живую душу, ведь уже скоро 13, ведь уже что-то чувствует, соображает. Не трудно нащупать — где тут наслоения, идущие от школы, от Аксиньиной семьи, а где — нутряное. Иногда он пишет совсем по-деревенски, по-рязански: «ма, деньги твои получили, за что благодарим», иногда вдруг мелькает такая вполне приличная официальная фраза: «я тщательно готовлюсь к предстоящим весенним испытаниям», а иногда вдруг идет неожиданное сообщение, что какой-то приятель Левка (кажется это племянник Векслера) — врунишка, т. к. наболтал, что он видел линкор величиной во всю Казань. Что из себя представляет наш сын? О чем думает, чем живет? Какова глубина травмы, нанесенной ему положением его родителей? Трудно сказать. Трудно угадать, какого таинственного незнакомца мы встретим, если суждено нам его встретить. Боже мой, пусть какой угодно, только бы жив, только бы жив, а там я сумею восполнить и недостаток культуры и все, все... Во вчерашнем письме он пишет, что Андриан собирает-ся переезжать из Чкалова в Сталинабад

и взять его, Ваську, с собой. Этот проект меня страшно волнует. Во-первых, для малярика (а [у] Васика малярия с младенчества) — негодный климат, во-вторых — тысячи километров расстояния от моей мамы, в-третьих — без женского присмотра (а если Андриан женится, то еще хуже — с чужой женщиной), как бы там ни было, хоть, думаю, и не сладко ему сейчас живется, но родственники так не обидят, как чужая. Будешь писать, категорически запрети отправлять его. Я буду помогать им сколько могу, и сейчас уже больше года, хоть очень понемножку, но регулярно посылаю им. Майка не пишет Васе совершенно и абсолютно никакого интереса к нему не проявляет. Ведь ей 21-ый год уже пошел! Откуда такое чудовищное равнодушие к судьбе самых близких людей? Как это непохоже на нашу чувствительную, даже немного сентиментальную девочку! Наверно, попала под чье-нибудь плохое влияние. Интересно, пишет ли она хоть Шапиро<sup>45</sup>? Пашенька, дорогой мой, хороший мой, как я завидую твоему оптимизму, твоей вере в нашу встречу. Если бы я имела такую уверенность...

Мой новый адрес тебе сообщит мама, но лучше пиши через нее или через Васю. Целую тебя, обнимаю. Твоя Женя.

23/7 45

Я все пишу и пишу, все надеюсь, что хоть одно из этих писем ты получишь. Пашенька, родной мой! Посылаю свои письма самыми различными путями, но во всех повторяю одно и то же, чтобы эта мысль обязательно дошла до тебя. Не делай же ты, ради Бога, выводов об отношении из факта отсутствия писем. Да что ты, первый день в этих условиях, что ли? Вот я тоже почти три года ничего от тебя не получала — с конца 41-го до осени 44 г.

Писала, запрашивала — ни слуха, ни духа. Потом получила — в 44 г. одно и в 45 — два: февральское и апрельское. Но ведь я не делала из этого вывода, что ты предал забвению и меня и весь пройденный вместе путь. Не надо, родной мой, не надо таких страшных слов, не надо этих чудовищных разрешений на начало новой жизни, которые ты прислал мне в последнем письме.

Девятый год... Это добрая треть сознательной жизни человека. «Когда часы остановились» — так начинается первая часть «Запечатленного труда» Веры Фигнер<sup>46</sup>. Остановились ли часы моей жизни на одном февральском дне 37-го года? Да, они останавливались. Они стояли все время, пока я была в Казани, в Москве и в Ярославле. Два с половиной года стояли часы моей жизни, а все силы души были мобилизованы на осмысление пережитого, на переоценку многих ценностей, на долгие беседы со своей совестью. Уединение способствовало этому. Но с момента приезда сюда часы снова пошли. Это была снова жизнь — мучительная, противостественная, страшная, — но все-таки жизнь. Если мы встретимся с тобой когда-нибудь, то мне, наверно, не хватит остатка жизни, чтобы передать тебе все пережитое. Калейдоскоп людей, событий, отношений — на фоне этой специфической, непередаваемой обстановки, которую ты частично, вероятно, можешь себе представить.

24/7 — Продолжаю. Мне кажется, что твоя жизнь, с момента приезда на теперешнее место жительства, течет более монотонно и однообразно, чем моя. Я за эти шесть лет — с 39 г., со времени приезда из Ярославля, меняла место жительства 14 раз. Некоторые из этих перемен

46 Фигнер Вера Николаевна (1852–1942) — революционерка, террористка, член Исполнительного комитета «Народной воли», подробно описала свою биографию в книге «Запечатленный труд».

были внутри Эльгенского ведомства, некоторые вне. Расстояния здесь большие, таежные и сохранение адреса «Эльген» вовсе не означало, что я нахожусь в одном и том же месте. Сейчас я — вне Эльгенского ведомства и на сегодняшний день это для меня лучше, а что и как будет завтра — не знаю. Обстановка крайне изменчива. Работа моя была тоже очень разнообразна. Я подсчитала, что за шесть лет я провела на медицинской работе в общей сложности 3 года и 11 мес. (в разной обстановке и на разных местах), а остальное время, т. е. 2 года и 1 мес., я была на различных физических работах (не подряд, а время от времени), в том числе и на тяжелых, как напр. лесоповал. Последний раз была на лесозаготовках в декабре 44 г., т. е. всего 7 мес. тому назад.

И, при каждом из 14-ти переездов на новое место жительства, приходилось приравниваться к новой обстановке, к новым людям и к тем сложным взаимоотношениям, какие создаются в этой обстановке, лишенной «всех и всяческих масок»<sup>47</sup>, где «голый человек на голой земле» в буквальном смысле этого слова, и в смысле борьбы с суровой природой на базе довольно примитивной техники и в смысле обнажения всех первичных инстинктов — голода, страха, полового вожделения. Найти такую линию поведения, которая обеспечила бы сохранение физического существования, но, с другой стороны, обеспечила бы сохранение твоего человеческого достоинства. Какое шаткое равновесие приходилось иногда соблюдать, какая еле уловимая грань отделяет порой допустимые компромиссы с совестью от той роковой черты, за которой все позволено. Повторяю — многие сотни людей — и мужчин и женщин — прошли перед моими глазами за эти годы.

Я видела страшные эволюции, картина полного распада личности, окончательного увязания в грязи, но, с другой стороны, я видела и вижу примеры исключительной стойкости духа, я вижу, как люди проносят свой священный огонь непотушенным даже сквозь таежные вьюги и метели. Я уверена, что к таким относишься и ты, Паша. Отношу ли я к таким себя? Героиней я себя не считаю. Были минуты, которые я хотела бы считать не бывшими, иногда на выручку приходил случай, удача, иногда хорошие люди. Но, в основном, я считаю, что я морально сохранилась. Поэтому я так болезненно восприняла твое утверждение, что «нет больше прежней Женюшеньки». Она есть, Пашенька! Это все та же твоя Женюшенька — пусть постаревшая, подурневшая, растерявшая значительную часть своего идейно-теоретического багажа, спотыкавшаяся о многие камни и много раз разбиравшая в кровь лицо — но все та же. И все эти годы я ни на минуту не переставала быть твоей женой, слышишь? Была, есть и буду — хоть бы не один, а два или три десятка лет лежали между нами. Помни это и не давай мне никогда благословения на новое счастье. Вообще, самое слово «счастье», примененное ко мне, кажется мне кошунством после того, как я потеряла Алешу. Ты лучше всех поймешь, какое значение имеет старший сын для человека, находящегося в моем положении. Он должен был дожить то, чего я не дожидала, долюбить то, чего я не успела долюбить, одним словом, вместо моей сломанной жизни, должна была развернуться его прекрасная, творческая жизнь. Он погиб. Я даже не знаю, где его могила. Он похоронен в братской. Можно ли говорить мне о счастье, да еще о новом.

Даже если осуществится моя самая страстная мечта, т. е. если мне удастся остаток моей жизни прожить вместе с тобой, — с Васей, с мамой, — все равно

47 Выражение из статьи В. И. Ленина «Лев Толстой, как зеркало русской революции».

о счастье не может быть и речи. Алешины страдания это больше, чем мои собственные. Свои — можно забыть, его страдания для меня незабываемы. Эта рана не заживает от времени, она кровоточит постоянно.

Счастье для меня уже невозможно, но покой, но тишина, но гармония... О них я мечтаю и их я могу обрести, только если мне доведется снова опереться на твою руку в моей трудной дороге.

25/7 — Продолжаю. Сейчас 12 ч. ночи. Дежурю в больнице. За окном сильнейший ветер — душный, не освежающий. Нынче ужасное лето у нас. В середине июня выпал снег, морозом побило большую часть ягод (что составит значительный ущерб в нашем питании), а теперь эти противные душные ветры, на которые я реагирую тяжелыми расстройствами сердечной [компенсациями]. И комары... Это что-то особенное. Без накомарника на улицу носа не высунешь, но и сквозь него жалят. Здесь говорят — Бог создал пчелу, а черту тоже захотелось что-нибудь сделать, ну он и сделал комара. В этой белой ночи, в этом ветре, во всем пейзаже есть что-то первозданное, изначальное, ассоциирующееся с каким-нибудь ледниковым периодом. Недаром как-то не так давно здесь нашли кости мамонта. Боже мой, как я хочу еще хоть раз в жизни увидеть город! Как говорил Маяковский — «увидеть умную морду трамвая»<sup>48</sup>. Недавно в кино увидела Красную площадь, Василия Блаженного и ту гостиницу, где мы с тобой так хорошо жили в декабре 36 года, так просто дух захватило.

Каждая улица Казани кажется недосягаемым раем. А об Университете тоскую, как о родном человеке. Обняла бы за колонну, поцеловала бы, — «родной мой, старенький, как живешь?»

Получила несколько писем от Васьки. Пишет: «ты, мамочка, хочешь, чтобы я был врачом, а я предпочитал бы стать моряком». Ну, еще бы — раз настольная книга «Граф Монтекристо» да «Три мушкетера». Ты возлагаешь большие надежды на то, что через полтора года<sup>49</sup> резко изменится судьба нашей девочки (не Май, а Евочки). Не разделяю этих радужных надежд. Я думаю, что ей не удастся в срок окончить свой Институт, наверно задержат на повторительный курс, как уже было с некоторыми подругами<sup>50</sup>. В июне — июле посылала тебе 2 телеграммы. Неужели ни одной не получил? Доходят ли вообще к Вам телеграммы?

Ну, будь здоров, дорогой мой любимый мой. Не тоскуй. Я буду с тобой. Только очень жди.

Целую тебя, обнимаю, жду. Всегда твоя Женя.

3/9 45

КОЛЫМА. ЯГОДНОЕ. БЕЛИЧЬЕ

Дорогой мой Пашенька!

Наконец-то ты получил хоть одно мое письмо. Правда — давнишнее, от ноября 44 г., но все-таки получил. А я вчера получила от тебя совсем свежее от 12/6 45 г. За эту весну и лето я много писала тебе, послала и несколько телеграмм. Но телеграммы явно не доходят, т. к. ответа ни на одну не получила. А письма? Неужели и они не дойдут!

Милый, сколько я плакала над твоим письмом, сегодня весь день совсем больная. Способность плакать я потеряла с 37 года, даже 42-й вызвал у меня не слезы, а тяжелое тупое отчаяние. Только в этом году я стала снова иногда плакать, но каждый раз слезы скупые, не облегчающие.

49 Срок лагерного заключения Е. Гинзбург должен был окончиться через полтора года, 15 февраля 1947 года.

50 Намек на повторные аресты после освобождения из лагеря.

А вчера над твоим письмом я хорошо заплакала, навзрыд, как прежняя Женья. Как я хочу с тобой говорить, Павлюхан, как мне это необходимо. Я чувствую, что по многим основным вопросам жизни и мировоззрения наши суждения сойдутся, т. к. мысли как будто бы идут по одному руслу. За эти годы я бесконечно много думала о твоей душевной жизни. Мне казалось, что тебе будет еще тяжелее, чем мне, найти новые точки опоры. Прямолинейность твоего жизненного пути, твой моноидеизм создавали такой фон твоей душевной жизни, что травма, полученная нами, могла оказаться для тебя смертельной. У меня были линии отвлечения: литература, материнские тревоги, наконец, даже мой эгоизм и тот сыграл защитную роль в минуты страшного кризиса. У тебя ничего этого не было, ты «знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть...»<sup>51</sup>. Отнять ее — значило отнять жизнь. Я так боялась за тебя, мой любимый.

Я боялась не только физической твоей гибели, но и гибели моральной. Я холодела при мысли, что ты мог превратиться в того «доходягу», тип которого я так хорошо изучила: — шаткая походка, опустошенный взгляд, загорающийся только при разговорах на пищевые темы. Попробуй, угадай в нем бывшего деятеля. Таким стал встреченный мной здесь Аюпов, тот, который работал с Ягудиным<sup>52</sup>. Я тебе уже писала. Хотя он и на материке не блистал интеллектуальными данными, но все же то, во что он превратился здесь, — трудно себе представить. И многих одаренных людей я видела в таких же ролях. Какое счастье, что ты сохранился не только физически, но и морально, что твоя

кристальная душа и творческая мысль бьется, искрится в каждом написанном тобой слове.

Солнышко мое, мой родной, близкий, неповторимый! Сколько людей прошло передо мной, а такого, как ты, нет и не будет. Единственное, что меня успокаивает, когда я думаю о Ваське, о его беспризорном детстве, это то, что он — твой сын. И всегда я ему повторяю в письмах — будь таким, как папа, больше ничего не хочу от тебя. Сегодня праздник, победа над Японией. Итак, мы вступаем в полосу мирного строительства. Будем надеяться, что и нам, жителям дальнего Севера, общее счастье нашей страны принесет новые радости. У меня самые далеко идущие мечты такие: чтобы мы с тобой получили возможность встретиться и поселиться в каком-нибудь маленьком городке Сибири. Ты будешь работать бухгалтером, а я — фельдшерницей. Васька и Майка будут учиться в Москве и приезжать к нам на лето. Большой портрет Алеши будет висеть над столом. Мама будет жить с нами. По вечерам мы теперь будем вполне свободны, не то, что раньше. Боже, как нам будет хорошо вдвоем! Сколько нам надо прочесть еще книг, сколько обсудить вопросов! Небольшая группа близких друзей будет навещать нас. Мы будем много гулять — ведь сибирская природа покажется нам такой богатой, а климат таким мягким. Потом Мая выйдет замуж, у нее родится сын, которого будут звать Алешей, а похож он будет на тебя и на Ваську. Она привезет его к нам и я его буду воспитывать, пока она учится.

Вот так я мечтаю... Пашенька, Пашенька, родной, неужели это невозможно! Я — опять в новом месте. Это — наша районная больница. Я работаю фельдшером в туберкулезном отделении. Я сыта и относительно здорова. Работаю очень много, устаю, нервничаю. Перевод в эту большую больницу является вроде как бы

<sup>51</sup> Строки из поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри».

<sup>52</sup> Ягудин Мигдат Губайдуллович (1904–1982) — председатель президиума Татарского Центрального исполнительного комитета (ТатЦИК, ЦИК ТАССР) в 1932–1934 годах.

выдвижением, но мне лично на Таскане (где я, после отъезда из Эльгена, проработала 7 месяцев), было лучше. Там я имела возможность много читать и около меня были близкие друзья. Здесь я очень ощущаю одиночество. Но и это ничего, во всяком случае лучше, чем в Эльгене. Павлюкан мой родной, напиши, что представляет собой твоя Кира, среди каких людей ты вращаешься. Есть ли там фотограф и не можешь ли ты сфотографироваться и прислать мне карточку? Только шли через маму или Васю. Практика показала, что ни одно твое письмо, адресованное непосредственно сюда, не дошло по назначению. Ну, до свидания, родименький, хороший мой. Какой ты оптимист! Все веришь в лучшее. Как я хочу, чтобы ты оказался прав. Целую тебя, обнимаю, люблю.

Твоя Женя.

12/12 45

Дорогой мой Пашенька!

Я уже писала тебе, что твое письмо от 28/8 45 г. я получила. Это чуть ли не единственное письмо, посланное непосредственно в мой адрес от тебя, что дошло по назначению. Я тебе ответила на него через Ваську и в письмо вложила свою маленькую фотографию. Надеюсь, что все это ты уже получил. Сейчас хочу остановиться на одном вопросе, который я в предыдущем письме обошла, чтобы не травмировать Василька. Я хочу спросить тебя, Паша, откуда у тебя эта наивная уверенность в том, что стоит только наступить 15-му февраля 47 года, как уже сразу я попадаю в объятия Васи и мамы? Разве ты не сталкиваешься с многочисленными случаями, когда ничего подобного не происходит. Твои слова «и я, и сын со все возрастающим нетерпением ждем этого дня» просто выбили меня из колеи, наполнив мое сердце новым потоком горечи. Не надо так настраивать Ваську, Паша. Конечно,

надо ему внушить, что мама к нему вернется (пусть живет этой сладкой, обманчивой надеждой), но ни в коем случае не указывать конкретных сроков, чтобы не наносить новую рану и без того израненной психике нашего ребенка. Ведь, между нами говоря, нет никаких шансов, что он так скоро увидит свою маму. Если еще я имею слабые надежды на перемену к этому времени моего юридического положения, то о перемене места жительства, с моей точки зрения, буквально не может быть и речи<sup>53</sup>. Мои мечты сейчас сводятся только к тому, чтобы получить, наконец, возможность зарабатывать деньги, обеспечить его материально и материально же помочь тебе.

Но, повторяю, и это пока одни мечты. Ты пишешь, что пределом твоих мечтаний является получение посылки от меня.

Бедный мой мальчик, как мало тебе хочется и мечтается! Да, мы стали совсем скромные.

«Я теперь скупее стал в желаньях. Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..»<sup>54</sup> Родненький мой, если бы была возможность пересылки, поверь, я бы уже и сейчас постаралась осуществить эту твою скромную мечту. Кстати, напиши, можно ли перевести тебе немного денег? Я спрашиваю об этом потому, что все мои телеграммы к тебе обычно терялись, так, может быть, и телеграфные переводы невозможны? Я, пожалуй, пошлю деньги маме и попрошу ее переслать их тебе. За последний год мне удавалось почти ежемесячно посылать немного денег Ваське. Конечно, это очень мало и никак не окупает труда и заботы Аксиньи, но поверь, что если мое положение через год действительно изменится, то единственной моей заботой будет

53 Заключение по политическим статьям после освобождения не разрешалось проживать в столицах республик.

54 Строки из стихотворения С. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу...».

обеспечить эту семью, сохранившую в эти трудные годы моего последнего ребенка.

Пашенька, родной, любимый!

Не скрою от тебя, что живется мне трудно.

Материальные лишения — пустяки, я к ним привыкла. Основное — душевный крах. Не за что держаться. Ведь за одни книги, хоть я и глотаю их с жадностью маниака, не удержишься. Дружбы?

Много уже их возникало и распадалось — и с женщинами, и с мужчинами. Много было разочарований. Такого друга, как ты нет, не было и не будет. Это помни всегда.

Желанный мой, не задумываясь отдала бы половину оставшегося мне срока жизни за одну только встречу с тобой, хоть на день, хоть на 3–4 часа.

Пиши. Целую. И все-таки жду.

Девять лет жду тебя, Паша.

Твоя Женя.



- Адамова-Слиозберг Ольга Львовна. *Путь*. М. : Возвращение, 1995.
- Бардина Нина Георгиевна. *Моя жизнь*. М. : Визграф, 2004.
- Блок-Баерс Розалия Моисеевна. *Нью-Йорк — Москва — Сибирь по этапам* // Звезда. 2001. № 9.
- Бубер-Нейман Маргарете. *Мировая революция и сталинский режим: записки очевидца о деятельности Коминтерна в 1920–1930-х годах*. М. : АИРО-XX, 1995.
- Верженская Ядвига-Ирена Иосифовна. *Воспоминания*. Машинопись. Архив НИПЦ «Мемориал». Ф. 1. Оп. 2. Д. 1200.
- Веселая Заяра Артемовна. 7–35. *Воспоминания о тюрьме и ссылке*. М. : Возвращение, 2006.
- Герценберг Инна Васильевна. *Воспоминания сына Руслана Волкова*. Архив НИПЦ «Мемориал». Ф. 54.
- Волович Хава Владимировна. *Повесть без названия: воспоминания*. Архив НИПЦ «Мемориал». Ф. 2. Оп. 1. Д. 36.
- Вольнская Раиса Львовна. *Воспоминания*. Машинопись. Архив НИПЦ «Мемориал». Ф. 2. Оп. 2. Д. 13.
- Гаген-Торн Нина Ивановна. *Memoria*. М. : Возвращение, 1994.
- Гиваргизова Ефросинья Михайловна. *Воспоминания дочери Марии Севортян*. Архив НИПЦ «Мемориал». Ф. 54.
- Гинзбург Евгения Семеновна. *Крутой маршрут: хроника времен культуры личности*. М. : Книга, 1991.
- Гранкина Надежда Васильевна. *Записки вашей современницы* // Доднесь тяготее. Вып. 1. М. : Сов. писатель, 1998.
- Знаменская Вероника Константиновна. *Большая память*. М. : Возвращение, 2015.
- Июффе Мария Михайловна. *Одна ночь. Повесть о правде*. Нью-Йорк : Хроника, 1978.
- Касьян Людмила Васильевна. *Запись устных воспоминаний*. Архив НИПЦ «Мемориал». Ф. 57.
- Куллэ Ирина Робертовна. *Тени на суэтинке: воспоминания*. Архив НИПЦ «Мемориал». Ф. 2. Оп. 5. Д. 28.
- Курилкина Валентина Ивановна. *Воспоминания сына Леонарда Рудого*. Архив НИПЦ «Мемориал». Ф. 54.
- Кухарская Екатерина. *Будь что будет* // Доднесь тяготее. Т. 2. М. : Возвращение, 2004.
- Ларина-Бухарина Анна Михайловна. *Незабываемое*. М. : Изд-во АПН, 1989.
- Левинсон Галина Ивановна. *Я постараюсь забыть* // Вся наша жизнь. М. : Мемориал, 1996.
- Лещенко-Сухомлина Татьяна Ивановна. *Долгое будущее: дневник-воспоминание*. М. : Сов. писатель, 1991.
- Лукашова Фанни Львовна. *Воспоминания*. Машинопись. Архив НИПЦ «Мемориал». Ф. 2. Оп. 2. Д. 55.
- Маковская Нина Александровна. *Воспоминания дочери Марины Душкиной*. Архив НИПЦ «Мемориал». Ф. 54.
- Марченко Зоя Дмитриевна. *Семнадцать лет на островах ГУЛАГа*. М. : Возвращение, 1999.
- Олицкая Екатерина Львовна. *На Колыме* // Доднесь тяготее. Т. 2. М. : Возвращение, 2004.
- Петкевич Тамара Владиславовна. *Жизнь — сапожок непарный*. СПб. : Астра-Люкс : АТОКСО, 1993.
- Печуро Сусанна Соломоновна. *Запись устных воспоминаний*. Архив НИПЦ «Мемориал». Ф. 58.
- Рор Ангелина. *Холодные звезды* ГУЛАГа. М. : Звенья, 2006.
- Сандрацкая Мария Карловна. *Воспоминания*. Машинопись. Архив НИПЦ «Мемориал». Ф. 2. Оп. 1. Д. 105.
- Семенова Галина Александровна. *Наказание без преступления: воспоминания инженера Семеновской Г. А. о заключении в Карлаге с 1938 по 1944 гг.* Машинопись. Архив НИПЦ «Мемориал». Ф. 2. Оп. 3. Д. 60.
- Тамарина Руфь Мееровна. *Щепкой в потоке*. Томск : Водолей, 1999.
- Титкова (Ильзен) Юлиана Алексеевна. *Воспоминания о встречах с женами военных и военными в ГУЛАГе*. Рукопись. Архив НИПЦ «Мемориал». Ф. 2. Оп. 7. Д. 69.
- Устиева Вера Яковлевна. *Подарок для вице-президента* // Доднесь тяготее. Т. 2. М. : Возвращение, 1996.
- Фришер Хелла (Елена Густавовна). *В нашей жизни много раз — «так трудно еще не было»* // Доднесь тяготее. Вып. 1. М. : Сов. писатель, 1989.
- Шульц Вера Александровна. *Таганка. В Средней Азии* // Доднесь тяготее. Вып. 1. М. : Сов. писатель, 1989.
- Яковенко Мира Мстиславовна. *Агнесса. Исповедь жены сталинского чекиста* [Устные рассказы Агнессы Ивановны Мироновой-Король]. М. : Звенья, 1997.
- Янковская Циля Львовна. *Ровесница века*. СПб. : Наука, 2018.